

Владимир
АЛЕЙНИКОВ

Очищающий
СМОГ



Владимир Дмитриевич Алейников
Очищающий СМОГ

Серия «Современная книга.
Поэзия, проза, публицистика»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11952551
Алейников В. Д. Очищающий СМОГ: Алетейя; СПб; 2015
ISBN 978-5-9906154-5-8

Аннотация

Книга "Очищающий СМОГ" – книга известного поэта и прозаика Владимира Алейникова о былой эпохе, об отечественном андеграунде. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ повествует о том, как возникло это содружество, своим явлением в середине шестидесятых годов XX века изумившее современников, о своих друзьях, их судьбах и творчестве.

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Владимир Алейников

Очищающий СМОГ

© В. Д. Алейников, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

I

Было слово в начале – и слово это было, конечно, СМОГ.
Если СМОГ – то, считай, пролог.
Дар неожиданный. Судьба? Не знаю.
Соль земная да боль сквозная.
Даль блаженная. Горький слог.

В январе шестьдесят пятого, слишком памятного для меня, Змеинового, многотрудного, с испытаниями на прочность, с выживанием ранним, а также с обретением драгоценным духа, света, пути своего, речи, дома, голоса, веры, и надежды упрямой на чудо, и пришедшей однажды любви, явь раскрывшего книгою новой, правь призвавшего мне в подмогу, навь отвадившего навеки от крылатой души, чтоб сердце закалилось и возмужало, с кровью давшегося когда-то, чтоб светлейшим остаться, года, в дни, предвестием ставшие бурь и событий неисчислимых, а именно двадцать шестого числа, да, конечно же, так, вечером зимним, под знаком Водолея, родного созвездия, в Москве появился СМОГ.

Слух об этом распространился, как бывает у нас, мгновенно.
В неизбежности этой виден свой резон и промысел свой.
Может, имя новое ныне и в грядущем благословенно?
Может, выживет слово наше – и легендой станет живой?

В напоминавших сплошную дымовую завесу, похожих на кошмарную псевдомузыку, наслоениях былой эпохи был услышан отчётливо вдруг некий чистый звук, различим был верно взятый тон, вроде зова, клич, скорее, призывный клич, на который, вслушавшись чутко и поняв, почему и где слышен он в пространстве и времени, можно было идти сквозь мглу, сквозь обман её, сквозь неволю и беду, как на свет маяка.

Словно где-то в глухих снегах, в потаённом заречном урочище, пробудился дремавший дотопе сотни лет вечевой колокол, обрёл свой призывный голос, заговорил, – и эхо небывалого этого звона, отважного и заранее обречённого, светлой надеждой и тревогой отозвалось в стосковавшихся по хорошему человеческих усталых душах, расширяющимися кругами поплыло по давно забывшей о всякой, древле привычной, соборности, зимней столице.

Заволновались, все оптом, немедленно всё разведав и тщательно разузнав, что к чему, что за невидаль такая появилась на горизонте, почему призыв раздаётся необычный к объединению и зачем он такое сулит, от чего действительно кругом голова идёт с непривычки, на удивление просто многочисленные в то время молодые совсем поэты, ну а с ними ещё и прозаики, потянулись на отзвук магического, несомненно, странного имени сквозь январскую снежную мглу: в кои-то веки, надо же, представилась им возможность, да ещё и какая роскошная, в просторечии просто лафа, на людей вокруг посмотреть, кто такие и чем они дышат, и себя наконец показать!

Насторожённо выглянули из дверей левацких, бунтарских, чердачных, поближе к высоким небесам и желанной свободе, что, возможно, когда-нибудь с них однажды въявь низойдёт на отчизну, в бесчашье идущую, и на граждан её, режимом не приветствуемых отнюдь, подозрительных слишком, творческих, колоритных, нищих, с характером, то затворников, то гуляк, праздных, буйных, бывало и так, и подвальных, к земле поближе, но и к воле, само собою, к переулкам, знакомым пивнушкам, уголкам заветным, дворам, убежищ,

бункеров, схронов, прокуренных и нетопленных, заполненных до предела твореньями авангардными, разговорами за бутылкой до утра, голосами западными, сквозь глушилок вой, из транзисторов, размышлениями в одиночестве и мечтаниями похмельными о возможном прорыве к выставкам, к стосковавшимся по искусству настоящему, неисчислимым, благодарным, восторженным зрителям и ценителям изумлённым вдохновенных трудов, мастерских, бородатые и безбородые, сплошь, конечно, полузапретные, вне приманок официоза и капканов идеологии, прозябающие годами в неизвестности, в основном, или, что ненамного лучше, в известности для немногих, художники, вышли на свет Божий пёстрой ордою, со своими, конечно, работами, свидетельствами прозрений, бессонных ночей, наитий, бесспорных, для них, открытий, потащились, галдя, на зов: дорого братцы, внимание, да и вместе держаться порою всё же куда надёжнее, нежели тщетно пытаться выбиться поодиночке!

Ещё редкие в ту далёкую пору, в самой, что ни на есть, сердцевине шестидесятых, потому-то везде и всюду ожидаемые с волнением, привечаемые с любовью, барды, все, в основном, удалые, голосистые, все молодые, совершенно не заматеревшие, в исполнении не поднаторевшие симпатичных песен, в которых, как могли, выражали эпоху, настроенья людские тогдашние, кто бойчее и посмелее, кто с оглядкой и поделикатнее, вместе с лирикой, в общем котле, подперчив наудачу, смешивая и политику, и сатиру, и, конечно, всеобщий, повальный, негибемый юмор отечественный, помогавший всем выживать, настраивали свои рабочие инструменты, гитары, и выясняли у знакомых: куда идти, хоть прямо сейчас, немедленно, готовность номер один, со свежими, с пылу, с жару, новёхонькими созданиями?

Проявили здоровый, в общем-то, интерес к явлению новому старшие, в силу возраста своего и заслуг немалых творческих, представители столичной, весьма избалованной, виды выдавшей богемы, которую, разумеется, на мякине какой-нибудь ни за что ведь не проведёшь, сохраняя, впрочем, заметим, некоторую дистанцию.

Засуетились разом любопытные, вездесущие, всезнающие, успевающие побывать в самых разных местах, лишь бы там что-нибудь интересное, ну а лучше, конечно, скандальное, да, желательно, и с последствиями, чтобы им, пронырам и хватам, было что потом обсуждать меж собою, происходило: хлебом их не корми, не надо, и водой не пои, успеется, перебьются, впредь наवरстают, а возьми-ка да покажи, потрудись-ка, вынь да положь очередное зрелище.

Здесь же, судя трезво и прямо по всему, назревало нечто из ряда вон выходящее: веяло, вроде, свободой, уж точно – реальной радостью общения долгожданного, мерещилось столь насущное объединение сил под стягами литературы новейшей и наилейшего, сверхсовременного, надо же, дождались, выходит, искусства, угадывался азарт и даже, вполне ощутимо, сквозил временами едкий холодок безусловного риска, что придавало с ходу, встряхивая сознание и напрягая мигмом, заставляя в комок собраться, быть готовым к любым поворотам событий непредсказуемых, особенную остроту пульсирующим ощущениям.

В студенческих аудиториях и в комнатах общежитий, в курилках библиотек, во дворе МГУ, всем известном, находящемся в центре столицы златоглавой, странноприимной, краснорезвёздной, на Моховой, не случайно вовсе давно уж называемом «психодромом», в салонах богемных для избранных, на тесных московских кухнях – очагах подспудного, тайного, домашнего, с водкой, с чайком, отечественного, родного для многих, инакомыслия, – наконец, на улицах прямо, в учреждениях, на предприятиях и в общественном людном транспорте все, решительно все, говорили почему-то лишь об одном.

– Новость слышали вы?
– Какую?
– СМОГ в Москве у нас!
– Ну ещё бы!
– Это, знаете ли, событие.
– Что-то в этом всё-таки есть.
(Вечное: с нами Бог!)
В СМОГ, поскорее в СМОГ!..

Не дремали, конечно, и власти.
В красной масти – сплошные напасти.
Пресловутые страсти-мордасти.
Разорвать готовы на части.
Разобраться бы? Сохранить?
Пожурить бы да побранить?
Нет, куда там! – скорей казнить.
– Проследить!
– Приструнить!
– Устранить!

Идея создания СМОГа принадлежит – придётся вам помнить об этом – нам двоим, поэтам, друзьям в далёкие годы – мне и Леониду Губанову.

А вернее – всё-таки так: моя – поначалу – идея, Лёнино – позже найденное, мистически точное слово.

Начиная ещё с сентября шестьдесят четвёртого года, со времени нашего с Лёней знакомого знакомства, стремительно переросшего в молодую крепкую дружбу, я всё твердил ему, что хорошо бы собрать наших единомышленников, людей интересных, творческих, и, что важно для нас, обязательно одарённых, с таким условием, только так, бездарных смутьянов нам не надо, – собрать воедино, потому что в таком вот единстве видел я и хорошую почву для дальнейшего, неперемного, совершенствования, поскольку таковое всем нам нужно и настоящее, то есть плодотворное и достойное, будем в это верить, общение, которого, согласитесь, никогда и нигде, и особенно в годы молодости, когда жажда знаний столь велика, просто ничем не заменишь, настолько оно нужно.

В пример приводил я нашу криворожскую группу поэтов, рассказывал увлечённо, подробности характерные и детали припоминая, как у нас было здорово, как эта дружеская среда помогала мне, вдохновенному и наивному провинциалу, постепенно сформироваться, обрести кругозор, найти свой собственный путь в поэзии.

Среда – это очень важно. И настолько важно, что в будущем, уж поверьте на слово, знаю, что сегодня вам говорю, всё её значение огромное просияет и возрастет.

Среда – это вовсе не стайка, не стадо, – такое стадо можно было увидеть запросто на любом из московских, бесчисленных, бессмысленных, так вернее и резче, литобъединений.

Среда – это всё же сообщество, некая группа людей, где все, так лучше, свои, где люди, чуткие к слову и отзывчивые, подчёркиваю, внимательные к соратникам, но ещё ведь и понимающие, сумеют, со всей своей трезвой доброжелательностью, и выслушать, как никто, спокойно и терпеливо, тебя, и, возможно, понять.

Так тогда понимал я это – и был, безусловно, прав.

Среда – это, прежде всего, так скажу я, возможность развития, духовного и ментального, возможность движения вперёд.

И соратники в этой среде, такой вот, отзывчивой, искренней, образованной, одарённой, должны быть надёжными, больше, проверенными на прочность, не с улицы вовсе, но, в хорошем, смысле, особенными, то есть, нечего тут смущаться, слово точное, так и надо, так всегда и бывало, избранными, по крайней мере, пускай, выбранными, отобранными нами, строго, придирчиво, из множества претендентов на членство в среде, на участие в наших предполагаемых сборищах, всяческих действиях и в нашей работе творческой, – здесь, я надеюсь, нам поможет наше чутьё.

Лёня слушал меня – и всё, всё решительно, что услышит, впрямь по старой присказке русской, то и дело на ус мотал.

Однако, надо заметить, никому вообще никогда не желающий уступать своё, порою условное, но, в его представлении, лидерство, в любом, даже малом самом, начинании, и в любом, иногда и сомнительном, деле, – видел будущее содружество по-своему – шире, проще, нет, пожалуй, так: примитивнее и не то чтобы демократичнее, но грубее, гостеприимнее, что ли, как-то по-хулигански, как в компанию разбитную принимал бы дворовых ребят, что, как вскоре немедленно выяснилось, нанесло хорошей идее непоправимый ущерб, даже удар, жестокий, как оказалось, пусть не намеренный, но удар, ничего не поделаешь с этим, превратив её, вот что грустно, с истоков самых, с такого славного, верилось нам на первых порах, начала, в движение, наподобие каких-то категорически неприемлемых, отдающих за версту политикой мнимой и нелепой, с душком анархии, с бестолковщиной, с безалаберной и лубочной революционностью: все, мол, к нам идите скорее, кто надумает, кто пожелает, у нас хорошо, у нас привольно, лучше, чем в прочих местах, мы всех принимаем, всех у себя привечаем.

Дал промашку Губанов. Губительную. Ошибся. Переборщил. Не учёл разношёрстность ринувшейся к нам ошалелой публики.

Но что мне теперь об этом сетовать? Что грустить?

И то слава Богу, что всё же немало в те дни оказалось рядом с нами действительно верных, вот что ценно, хороших людей.

Лёня был неисправимым, неистовым фантазёром.

Едва забрезжит какая-нибудь мысль, мало-мальски стоящая, или, может, идея новая, или что-нибудь, с ходу, с маху, безоглядно, с места в карьер, наталкивающее разом его на действие некое, немедленное, причём, действие, потому что иначе он просто не мог, иначе совсем не умел вести себя, попросту сдерживать, контролировать, хоть немного, – как он в голове своей забубённой уже всё прокрутит, вообразит, вдохновится, возликует, – и впрямь ему кажется, что, смотрите-ка, всё свершилось, как намечалось, ура, победа за нами, вот оно, состоялось, – а на самом-то деле всё, ну хоть тресни, хоть расшибись, хоть запей с огорченья горькую, всё, всегда ведь, обычно складывалось куда прозаичнее, чем ему, воспалённо-взвинченному, обычно воображалось.

Он и сам, заводной, увлекающийся, независимо от меня, ещё до нашей с ним дружбы, носился, как он мне поведал однажды, с идеей сплочения творческой молодёжи.

Ему, такому порывистому и столь удивительно быстро, по-сказочному легко, сходящемуся с людьми, хотелось чего-то большого, подлинного, такого, что стало бы делом великим его стремительной жизни, что даже – а кто его знает? всякое ведь бывает! – может, и обесмертило бы в грядущем имя его.

Это было бы уж и вовсе, по-губановски, замечательно.

Мечта о светлом, невиданном, с перезвонами колокольными, с песнопеньями, величаниями, славословьями должными, празднестве, о торжестве свободного, неподцензурного творчества, о выходе с тем, что было нами, пусть молодыми, но тружениками, к тому времени, знаменательному, во всех отношениях, создано, к слушателям и читателям, обернулась для нас, наивных мальчишек, для прочих – героев, страдальцев и даже мучеников, которым все поголовно сочувствовали, как издревле у нас на Руси повелось, которых поддерживал всякий, в ком совесть была не убита, в ком сердце билось горячее, в ком крылатая пела душа, не драмою вовсе, что вы, о нет, натуральной трагедией.

Но иначе и быть не могло.

Ведь самому советскому режиму, с его казёнными порядками и громадным арсеналом средств подавления любой нестандартной, новой, свежей инициативы брошен был нами вызов.

Празднество нашей молодости, несмотря на все огорчительные преграды и многие беды, всё-таки состоялось, поскольку, надо признать, молодая упрямая сила была в нас всегда через край, да и творчество наше в итоге, закалившись, окрепнув и выжив, одержало победу над злом.

В нашей мистерии мы честно, с полнейшей отдачей, «на разрыв аорты», бесспорно, сыграли роли свои.

Вот жертвы только нередко бывали, как-то жестоко, не по возрасту, не по правилам, слишком уж велики.

Опыт давался – с кровью, с болью, порой – ценою жизни, ценой изуродованной столь рано и так по-варварски грубо, надолго, судьбы, происходило всё – только всерьёз, никак не иначе, определялось решительно, бесповоротно, сразу и навсегда.

Выстоять было непросто.

Губанов нашёл ключевое слово, пароль, девиз для целого поколения.

Это, все признают, – действительно, без булды, как сказал бы он сам, огромная, личная, вроде Георгия боевого, или, может быть, ордена Славы, лишь его, прозорливца, заслуга.

Из песни слова не выкинешь.

Хотя, признаюсь, понимали мы с ним, героем богемным, это явленное неожиданно, в озаренье пришедшее слово совершенно по-разному сразу же и настолько по-своему каждый, что в итоге решили: важно, чтоб осталось оно – со своею несомненной, особенной тайной и своей правотой непреложной – таким, каково уж есть, – ну а мы свои убеждения при себе оставим, поскольку нас, пожалуй, не переделать: оба – личности, оба – с характером, оба – молоды, оба – поэты, и фантазии у обоих предостаточно, – посему слово стать обязано – делом.

Песни, само собою, у нас были тоже разные.

Лишь одна была общая – СМОГ.

СМОГ – об этом я говорю всегда, повторяя сознательно краткое определение бывшего содружества нашего, поскольку некому больше сказать об этом, да так, чтоб ясно всё стало сразу же любому, – значит сумел.

Сумей состояться как творческая, всем интересная личность, выстоять, выжить, остаться человеком в таких условиях, когда и дышать-то трудно, – вот в чём суть сокровенная этого брошенного в пространство, сквозь все времена, призыва.

Было нас, молодых, собравшихся в середине шестидесятых, как вокруг огня полыхающего, вокруг ночного костра, вокруг всем нам согревающего сердце во тьме сгустившейся понятия светлого – СМОГ – весьма и весьма много.

Сказки мы не увидели. Какая там сказка! С явью, причём советской, режимной, пришло нам дело иметь. И реальные, вовсе не сказочные, государственные, с партийными

билетами, страшные силы старались нас уничтожить, в порошок стереть, растоптать, развеять по ветру, так, чтоб и не вспомнить вовек, чтоб и следа не осталось.

Однако же нас, как ни странно, сумевших выдержать все испытания сложного времени и судьбы, сумевших сказать своё слово и дело своё довершить, и теперь немало.

Есть две основных расшифровки загадочной изначально и магически притягательной доселе аббревиатуры, в галактике нашей культуры созвездием вспыхнувшей, – СМОГ.

Более сдержанная и достаточно содержательная Смелость, Мысль, Образ, Глубина.

Более дерзкая, с вызовом бузотёрским, всем и всему, —

Самое Молодое Общество Гениев.

Первая – определяет, выразительно, лаконично, меру зная, тогдашние наши устремления и задачи.

Её-то предпочитал всегда я, всю жизнь, – и тогда, в горнилах шестидесятых, и сейчас, в свои зрелые годы.

Она – и скромней, и достойнее эпатажно-блажной второй.

В ней не то чтобы некая новая программа, что ли, заложена, развивать которую можно бесконечно и совершенствоваться, а выявлены отчётливо лишь некоторые, но важные ориентиры, вехи на пути, – далеко не все, впрочем, из тех, что важны были, в любую пору, для меня самого, для меня лично, конкретно, – в творчестве.

Вторая же расшифровка – больше, причём в открытую, без тени малейшей смущения, без обиняков, говорит о молодой задиристости, о кураже, о гусарстве этаком, напоказ, чтоб видели все и знали, какие же удалцы и смельчаки лихие эти смогисты, чем соответствует впрямь действительности.

Её всегда, неизменно, предпочитал Губанов. И упрямо стоял на своём.

Гении, мол, и всё тут. Целая россыпь гениев.

Да откуда им, стольким, взяться?

Так никогда не бывает, пусть на чудо поэт уповает, фантастика это, мечтания, прикидки навскидку, метания, завихренья воображения, в эмпириях туманных кружение, уж это и Лёня прекрасно, лучше некоторых, понимал.

Однако ему – хотелось так думать, хотелось так считать, и никак иначе, вот так он воображал себе содружество наше, – и я сразу же, прекратив споры и уговоры, махнул на это рукой.

Пусть так говорит, пусть так считает. Что с ним поделаешь?

Сам-то Лёня всегда ведь знал, как и сам я знал ясно и твёрдо, что настоящих смогистов, по самому что ни на есть большому, высокому счёту, двое всего – я да он.

Чем бы дитя не тешилось!.. Пусть резвится. Игра так игра.

Хотя, спору нет, настоящим талантом Господь никого из основных – помимо нас двоих с Губановым – лучших, или, можно и так, именитых в чужеземных странах и в нашей несуразной стране, смогистов, похоже, что не обидел.

И не зарывали мы в землю таланты свои, такие, какие уж были у нас, а развивали их, не сдавали свои позиции и не шли порой на уступки, а мужали и совершенствовались, каждый, понятно, по-своему.

СМОГ никогда, запомните, не был литературным направлением, обособленной группой, дисциплинированной, с установками непреложными, с «цеховой» своею программой.

СМОГ – содружество сил неумных, молодая когорта, плеяда.

Энергия при рождении СМОГа, как при рождении звёздной системы новой, оказалась такую мощной, долговечной, жизнеспособной, что питает нас до сих пор.

Больше того, энергия эта питает жизненными токами и современников наших, прекрасно помнящих выступления наши былые, знающих наше творчество.

Есть в этом своя, неподвластная времени, закономерность.

В СМОГе, в годы бесчасья всеобщего, перед каждым его участником, сразу ставилась непростая, подчеркну я, задача: быть!

Это само по себе уже собирало нас, подтягивало невольно, давало ориентиры.

Было ведь на кого нам равняться в годы минувшие, грань забвенья перешагнувшие, было ведь что сказать.

Передавалось это и нашим вернейшим слушателям (в то далёкое время, когда стихи в основном, представьте, существовали в устном исполнении, хорошо воспринимались с голоса), и читателям наших, вначале самиздатовских, а потом и типографским способом изданных, большей частью с запозданием изрядным, книг.

И совсем не заморским туманом отзывалось в людском сознании многозначное слово СМОГ, а стойкой, упрямой верой в таинство русской речи, излучающей дивный свет.

Ведущими, то есть главными для всех, поэтами СМОГа, звёздами, как теперь говорят, были мы с Губановым.

Потом, поотстав изрядно поначалу от нас, а позже и вовсе отмежевавшись, обособившись, шёл Кублановский.

Так уж, естественно, чётко, распределились роли.

Мы с Лёней – друзья и соперники, норовящие перегнать на дистанции, длинной и сложной, друг дружку в творческом нашем, отчаянном соревновании, – а потом уж все остальные.

Собственно говоря, соперничать, даже в шутку, с Губановым у меня желания, никакого, ни малейшего, никогда и нигде, и в мыслях-то не было.

Слишком был я уже и тогда, в молодую пору свою, в пору бури и натиска общую, неизменно, сам по себе.

Если уж кто и соперничал – то это, конечно, Лёня.

Азартный, рискованный во всём, он просто навязывал мне это, ненужное, странное, выдуманное соперничество.

Приходилось, как ни крути, принимать откровенный вызов.

Однако тягаться со мной и в те далёкие годы никто, помимо Губанова, помнится, не решался.

(Не случайно ведь, полагаю, года три, пожалуй, назад, в Москве, зимой, в феврале, в одной из нынешних наших, теперь всё более редких, всё более грустных бесед, со вздохом, со жгучей слезой в уголке слегка воспалённого и неловко, смущённо сощуренного, как от слишком яркого света впереди, усталого глаза, вырываясь навстречу ко мне из своей седины, из морщин, из досадных, броских примет беспорядочной, нищей жизни, из всего, что его тяготило, что ночами щемило, томило, что мешало ему дышать, всем лицом посветлев неожиданно, словно к морю шагнув, как встарь, почему-то помолодев, как-то ясно и просто, по-детски, да и только, взглянув на меня, сказал мне Аркадий Пахомов:

– Талантливее тебя, прошу тебя помнить об этом, вообще никого никогда я в жизни своей не встречал!

Ну а мне самому, придётся напрямую признаться ныне, давно и прекрасно ведомо, что так всё на деле и есть.)

Лёня быстро, скорее прочих окружающих, это понял.

И, как это бывает в спортивных, допустим, соревнованиях, никому вообще не желая уступать желанное первенство – всё-таки поделил, для себя, в основном, любимого, это первое место со мной, смирил себя, как умел, сдержал, пересилил, хотя всегда был готов к бунту.

Ревность его, хроническая, чудовищная иногда, не знающая ни меры, ни тактичности, ни приличий, надо честно заметить, была, вопреки людской, только творческой.

Губанов, при всех издержках и свойствах неизъяснимых, парадоксальных даже, характера своего, был достаточно щедр и умён, чтобы не распространять свой, одному ему нужный, соревновательский пыл ещё и на многочисленные жизненные аспекты.

Но так ему всё же хотелось – быть главным, главнейшим, быть у всех на устах, обеими ногами прочно стоять на этом самом, поди же ты, первом спортивном месте, – что я, совершенно, искренне, равнодушный, так я устроен, и тогда, и теперь, тем более, ко всяческому дележу, охотно прощал ему эти дворовые, может, ухватки.

Самым важным всегда для меня было то, что его небывалая одарённость, всеми вокруг ощущаемая мгновенно, прямо-таки лучилась, била вдруг из него какими-то мистическими, фантастическими, электрическими разрядами, что был он чудесен, весь в сиянии этого света, исходившего от него постоянно, – света поэзии.

Я даже им любовался порой – так был он хорош, так радовался своей стремительной, звонкой славе.

Молодой Губанов, так вышло, так сложилось, и так ведь бывает в поэзии, – это вершинный, несмотря на возраст, Губанов.

Такого в нём вскоре, всего-то через несколько бурных лет, не было больше – меж нами жил совсем другой человек.

Взлёт губановский ввысь, к небесам осиянным, – загадка, феномен.

Для литературоведов, понятно. Прежде всего.

Предстоит им ещё покряхтеть, как положено – с запозданием, предстоит ещё поломать свои головы, слишком уж занятые тем, что выгоднее для них, что удобнее в ситуации, называемой ими, при власти любой, как положено, "литературной", а на деле – всегда конъюнктурной и далёкой весьма от того, что действительно – литература, предстоит им ещё размышлять над загадкой этой давнишней. Как нарочно, она отложена в долгий ящик, – ну точно, для них.

Не для меня же, право!

Я-то в годы молодые наши знал его, как никто, и когда-нибудь, полагаю, ещё расскажу об этом.

Сформировались мы оба с Губановым одновременно, параллельно как-то, причём совершенно ведь независимо, вот в чём штука, один от другого, надо помнить, – довольно рано.

Написал и подумал вдруг – почему же "довольно рано"? Нет, как раз очень рано. Верней и прямей: небывало рано.

С этим когда-нибудь ещё долго будут потомки разбираться. А разберутся ли наконец-то – вот уж не знаю.

Мы ничего до осени шестьдесят четвёртого года, покуда не познакомились, друг о друге вовсе не знали.

Я жил в Кривом Роге, в провинции, он жил – в столице, Москве.

С шестнадцатилетнего возраста я писал серьёзные вещи, отказываться от которых и не думаю, даже сейчас, когда уже столько сделано за долгие годы работы.

С Губановым – аналогичная история. Так-то. И он в шестнадцать-семнадцать лет писал уже вещи, которые потом любила и знала наизусть половина Москвы.

Раннее впрямь развитие, – скажут всеядные умники.

Вот-вот. Действительно, раннее. Да не просто раннее. Сразу же определяющее – всё дальнейшее творчество.

Помню, поздней, суровой осенью того же, да, именно так, шестьдесят четвёртого, полного встреч, событий, наитий, стихов, наверное – в ноябре, потому что было уже холодно, да и снежно, повёл меня Саша Морозов к знаменитому, многими чтимому тогда, в былом, человеку, передовому, из лучших московских, преподавателю переполненного студентами-вольнолюбцами МГУ, критику первоклассному и превосходно владеющему словом, устным и письменным, русским, чистым и точным, литературоведу с громким в шестидесятых, честно заслуженным именем, Владимиру Николаевичу Турбину, своему наставнику и Учителю с буквы большой, не только по Альма матер, но и в жизни, что важно тоже, даже более важно, пожалуй, ибо связано с верой немалой.

Турбин жил в ту пору в каком-то скромном, скромнее некуда, невзрачном, без броских примет, сразу и не разглядишь, толком и не запомнишь, с ходу и не найдёшь, небольшом, кособоком слегка, но достаточно стойком домике, очень московском, даже, вроде бы, деревянном.

Помню присутствие холода в огромном, простуженном городе, закутанное шерстяным, плотно затянутым шарфом горло, повыше поднятый воротник моего не греющего, демисезонного, лёгкого, короткого слишком пальто, надвинутую поплотнее зимнюю шапку, даже опущенные, по привычке, вниз, прикрывшие щёки, уши её, для тепла.

Снег на проезжей части невыразительной улицы, с натугой сдвигаемый в стороны похожими на жуков или каких-то роботов из фантастики зарубежной снегоуборочными, скрежещущими по асфальту скребками, совками, лопатками железными, несуразными, но, пожалуй, необходимыми для работы трудной, машинами.

Снег на щербатом, скользком, леденеющем тротуаре, густой, слежавшийся, плотный, высокий, холодный слой давно идущего снега, в который ноги немедленно, как будто бы так и надо, проваливались по щиколотку.

Ботинки мои вначале слегка промокли, потом совсем промокли, да так, что мне приходилось туго, но виду я, разумеется, из упрямства, не подавал.

Потом – опять, ну конечно же, снег, уже во дворе, тихом, каком-то окраинном, и совершенно безлюдном.

И в небе, свинцово-сером, тусклом, слишком холодном, – кружащийся, завихряющийся, мелькающий, разрастающийся, до боли в затылке, до ряби в глазах, сквозь ресницы сомкнутые прорывающийся к зрачкам то и дело, московский снег.

Дом, древесно коричневеющий, отголоском приюта веющий сквозь повальный, обвальный, легальный, эпохальный, вселенский снег.

Возле подъезда – чья-то брошенная машина, похоже – «Москвич», постепенно, вроде бы, так, на первый взгляд, а на деле быстро исчезающая внутри вырастающего на глазах коренастой горой сугроба.

Дверь, ведущая внутрь, в подъезд, глухо скрипнула, отворилась.

Темноватая, узковатая, с причитаньем скрипучим, лестница.

Дверь квартиры, обитая стёртым, в тусклых звёздочках жёлтых гвоздиков, образующих простенький, скромный, чуть заметный узор, дерматином.

Какой-то нелепый, слишком отдельный, самостоятельный, подчёркнуто обособленный, независимо от всего вокруг, от подъезда, лестницы и двери самой существующий, обитающий сам по себе в этом доме и в мире, звонок.

Позвонили. Ждали недолго.

Нам открыл Турбин. Улыбнулся. Поздоровался. Пригласил – жестом, словом, взглядом – в квартиру.

Мы, один за другим, вошли.

Комната, одновременно тесная и просторная, вроде бы со сквознячком, но, между тем, и тёплая.

Окно с невзрачными, плотными, отдернутыми свободно в стороны, чуть шевельнувшись от вторжения нашего, шторами.

На синем, с морозной проседью сквозной, оконном стекле – сказочные, былинные, палехские узоры.

Простейшая – самое нужное – с явной мерой во всём – обстановка.

Рабочий – письменный – стол.

Множество разных книг.

Посреди тесновато-просторной, тепловато-прохладной комнаты – почему-то именно в центре, в середине, прямо под лампой, рядом с источником света, – высокий, вежливый, сдержанный в движениях и в эмоциях, кумир молодёжи, Турбин.

Внимательные донельзя, пронизательные, сощуренные, словно вправду самостоятельно, независимо, слишком отдельно от спокойного, нет, статичного, временами почти неподвижного, ни на миг не дрогнет, лица, существующие, своей собственной жизнью живущие, внутренним зрением что-то важное прозревающие здесь и повсюду, глаза.

Лицо – с устойчивой маской привычной, непросто давшейся, с годами, невозмутимости, с какой-то сознательно вежливой, сросшейся с ним давно интеллигентностью, что ли, воспитанностью ли, сдержанностью ли, в чертах, – и что там, за этой оболочкой, какие там бури назревают – поди гадай.

Лицо человека мыслящего, большей частью, видать, и живущего там, в глубоких мыслях своих, выражаясь по-русски – в думах, и только при необходимости, временами, нечасто, изредка, вынужденно, возможно, как в форточку приоткрытую, выглядывающего вдруг сюда, в повседневность, в явь.

Я бы сказал, что это лицо настоящего труженика.

Мыслить – это большой труд.

Об этом вполне убедительно и наглядно мне говорила и сетка лёгких морщин на чистом, высоком лбу.

А глаза – глаза были грустными.

И почувствовал я тогда в них, глазах, грустящих о чём-то нам неведомом, потаённом, там, за блещущими слегка, чуть расширенными зрачками, в недоступной чужому взгляду глубине их бездонной, внутри, – нескончаемый, давний, дивный, одержимо, в часы любые, в дни любые, оберегаемый от ненужных, грубых вторжений, поддерживаемый упрямо, каждый миг, всегда, неустанно, спасительный и целебный для этого, впрямь отрешённого от быта, от благ, человека, провидческий, творческий, жреческий, блаженный огонь. Жар души.

Турбин хотел непременно услышать мои стихи.

Пришлось мне, сосредоточившись, поначалу закрыв глаза и уйдя в себя, но потом, незаметно как-то, увлечьшись и невольно раскрепостившись, по традиции – просто распевшись, да и только, читать ему некоторые мои, те, что вспомнились, по чутью, по наитью, тогдашние вещи.

Для того ведь и приведён был – сквозь холод и снег – сюда.

Полагалось тогда – читать.

Слушал Турбин меня как-то совсем по-своему, чутко, так музыканты слушают, очень внимательно.

Слушал – каким-то особенным слухом, накрепко связанным, как я подумал сразу же, наблюдая порой за ним, с этим вот, внутренним, кровным, в глазах и там, за глазами, внутри его существа, скрываемым, оберегаемым, но всё-таки прорывающимся в мир, потаённым, властным, неуёмным, страстным огнём, жаром его души.

Когда я закончил чтение, он сразу же и решительно, шагнув ко мне, напрямик, сказал мне такие слова:

– У меня такое, Володя, всё крепнущее ощущение, что вы – совершенно сложившийся поэт. Настоящий поэт.

И он был, конечно же, прав.

Я и сам это твёрдо знал.

Вот и Губанов был – сложившийся поэт. Какой уж есть, каким рождён, со всеми своими взлётами, безумными рывками вперёд и в стороны, издержками, грехами, но, следует запомнить, – органичный, для некоторых слишком непривычный, неповторимый, фантастически поистине талантливый, решительно во всём.

(А может, и так – из ямба в дольник перешагнём:

Вот и Губанов был – сложившийся – понимаете ли сейчас вы меня? – поэт. Какой уж есть, со своими – всеми – дивными взлётами, всеми – что делать! – издержками, но – живой, во всём органичный, фантастически одарённый).

Мы с ним были совсем, совсем разные.

Голос, тон, манера, фонетика, интонации, ритмика, почерк, музыка, изобразительность, – всё, абсолютно всё – разное.

Но – вот что, и в самом деле, поразительно – в чём-то каждый из нас, полярных во многом людей, дополнял другого.

Почему же именно так происходило? В чём был секрет? Что за странность такая?

Теперь-то я знаю: мы оба в период общения нашего просто были, два друга-погодка, носителями поэзии, выразителями её, каждый, само собою, по-своему, – но она, поэзия, и она, русская речь родная, в их величии и единстве, в их космической необъятности, такой, что хватало с лихвою всегда, вообще на всех, будто бы изумлялись, радовались тому, что мы с Лёней были – подлинными, работали оба – во славу речи, во имя поэзии.

Мы дополняли друг друга точно так же, как дополняют друг друга, допустим, лучи, или какие-нибудь светящиеся объекты, выражающие наглядно то, что есть в мире нашем свет.

Дополнение вовсе не схожесть.

Дополнение – это движение оправданное к гармонии.

Один чистый звук – хорошо, а два чистых звука – в терцию, уже звучат, как залог будущей светлой мелодии.

Вот в чём дело. Надеюсь, понятно.

И, может быть, вовсе мы друг друга и не дополняли, а просто-напросто – пели, звучали, это была музыка, это было наше тогдашнее пение.

Орфичность – вот что в основе пения этого было, вот первейшее свойство стихов наших – моих и губановских.

И у меня, и у Лёни это было – очень ко времени.

Публике это нравилось. Приходилось всегда по душе. Сердце вдруг задевало. Струны порою затрагивало, тайные, но и отзывчивые, – где-то там, глубоко, внутри. Помогало дышать свободнее. Заставляло блеснуть глаза. Изумляло и вдохновляло. Просветляло нередко, пожалуй.

Вот мы и читали, читали, – везде, куда звали нас.

Я почитаю – Губанов меня сменяет, потом снова, бывало, я читаю, потом – Губанов.

Я читал – закинув по-птичьи светловолосую голову, закрыв, по привычке, глаза, подняв лицо своё вверх, руки расправив крыльями, читал – получалось: пел, читал я – переживая всем существом своим каждое стихотворение, словно заново, тут же, на месте, перед слушателями, его сочиняя, и весь, надолго, неизменно переключался на это чтение-пение,

весь уходил куда-то внутрь, в сердцевину голоса своего, этой музыки, сызнава, как и прежде, переполняющей без остатка всего меня, – читал обычно по памяти, по наитию, по чутью, и забывал обо всём, кроме этого звучного, странного для других, для меня самого, но всегда органичного чтения, – о времени, об окружении, обо всём совершенно, – и стоило мне такое чтение-пение непростое всегда и везде огромного напряжения, и когда я читать заканчивал, то стоял обычно, весь вымотанный, взмокший, с ясным, живым ощущением только что, в трансе, в полёте, выполненной, огромной, труднейшей, важнейшей работы, и, приходя в себя, успокаиваясь постепенно, я отчётливо понимал: был это – певческий труд. Орфический. Именно так. Видно, в крови это было. Древнюю нашу традицию, ведическую, корневую, – читающий в шестидесятых, я, как умел, продолжал.

Губанов – читал по-иному. Он – заводился. Взвинчивался. Притоптывал вдруг ногой, ритм отбивая. Руками взмахивал. Пел. Причитал. Выл иногда. Постанывал. Вздыхал. Срывался на крик. Шептал. Бормотал. Приговаривал. Небольшой, но пластичный, свободный в движениях, словно в разгону вбегал в звучание вещи, читаемой им, – и там, в завихрениях звуковых, в сочетаниях знаков и смыслов, жил, как в волшебном царстве. Властвовал над струением строки, над кружением фразы, над всей пробуждённой фонетикой, над строем, казалось, тут же рождаемым. Был – шаманом. Ворожил. В другие миры улетал. В измеренья другие. Возвращался оттуда – усталым. Но – принесшим с собою оттуда свет ему открывшихся знаний, откровений. Придя в себя, совершенно бледный, смотрел, широко распахнув глаза, на собравшихся. Оживал. Улыбался. Курил устало. Долго в нём ещё оставалось то, что видел он – там, за гранью повседневности, в том пространстве, где недавно он побывал.

Сохранились, чудом, возможно, фотографии старые, считанные: на них я – где-то читающий людям свои стихи.

Скульптор, друг мой старший, Геннадий Бессарабский, однажды вылепил меня – молодого, стройного, девятнадцатилетнего, в бурный начальный период СМОГа – читающего стихи.

Великий акварелист, незабвенный Артур Владимирович Фонвизин, ценитель искренний давних стихов моих, в мае невероятного, сложного шестьдесят пятого, написал мой портрет: и там я – читаю.

И так далее. Вдосталь было самых разных изображений.

И всегда – художники чувствовали и по-своему выражали орфичность, суть изначальную творчества моего.

Сохранились, к счастью, наверное, как свидетельства давнего времени, многие фотографии читающего Губанова.

Помню его лицо на них. Какая огромная работа происходила в нём, в его сердце, в душе, в сознании, воспламенённом стихами, во время чтения!

Это ведь вам не хиханьки, это не просто так, никаких вообще усилий не прикладывая для этого, читать, как читают обычно свои заурядные опусы прочие, несть им числа и названия нет им, пишущие.

Нет, это всегда – работа.

Всегда – бесконечное творчество.

Писание, то есть, создание стихов. И чтение их, воссоздание, всякий раз по-новому, без повторов.

Этот груз – многочисленных, сильных, но не издаваемых вовсе, в самиздате живущих стихов – тащить на себе, годами, даже вконец безысходными, долгими десятилетиями, – ох, какая это работа! Нет, не выразить. Мука просто.

Понимают ли это, хоть чуточку, литературоведы?
Понимает ли это – хоть кто-нибудь из современников наших?
Отчасти, слегка, – наверное.
До конца же – пожалуй, никто.
Кроме самих поэтов.

Мы с Губановым – честно тащили, каждый, понятно, по-своему, груз немалый, нас тяготивший, молодых своих, многим известных, только вовремя так и не изданных во пределах отчизны, стихов.

Когда-то, в шестидесятых, без всяких надежд на издание, можно было хотя бы прийти к тем, кто жаждали встречи с нами, к тем, кто нашими жили словами, почитать этим людям стихи. Почувствовать – их внимание. Ощутить иногда – понимание.

Вот потому-то мы оба и читали. Часто читали.
Работали – в поте лица, без всяких преувеличений.
Читали. Чтение было – жизнью для наших стихов.
Совершенно ведь разные, знали мы об этом прекрасно, поэты.

Но слушатели доходили до экстаза, бывало. Рыдали, умилялись чему-то, затронувшему чувства добрые их, восторгались.

Нашим чтением, полагаю теперь я, – была достигнута некая, крайне важная, гармония своеобразная, ожидаемая людьми давно уже – и наконец-то услышанная, воспринятая искренне и навсегда.

И даже больше, чем просто – гармония, то есть голос, линия мелодическая, – и с нею сопровождение, стройное, ненавязчивое, аккорды какие-нибудь.

Мы, двое поэтов, читающие людям свои стихи, – это было звучание сложное, необычайно мощное.

В нём параллельно шли и развивались различные темы, сразу же несколько тем, сразу много мелодий.

Это была настоящая полифония. Певческая. Жреческая. Лирическая. Эпическая. Контрапункт.

Приветствую вас, учитель, Иоганн Себастьян Бах!..
Да ещё и горящие свечи...
– Наше время – свеча и полынь.
А душой этой музыки, льющейся так свободно, была – орфичность.
Многие, кстати, верно чувствовали её.

Не случайно, поверьте на слово, далеко не случайно, Андрей Битов, под настроение, видимо, вспоминая прошлое, написал однажды, году в девяностом, с опозданием, разумеется, изрядным, о нас двоих:

«Рассвет пятидесятых застиг всех врасплох, пока глаза привыкали к свету, сменился закатом, и день шестидесятых так и не наступил – и тут, к ночи, некстати распелись два юных соловья – Владимир Алейников и Леонид Губанов, освещая себе ночь собственным пением. Музыка и дыхание, серебряное горло. Что они пели, так заходясь? Поэзию как таковую. Так ценят певчую птицу – по долготе одной арии. Двадцать лет ночи вытягивали они свою ноту. Песнь Губанова оборвалась вместе с ночью. Алейников привыкает к свету».

К свету я с трудом привыкал во второй половине сумбурных, перестроенных, с крохой свободы, восьмидесятых, один.

Губанова в те времена, с небывальщиной их очевидной, уже не было несколько лет, непростых, быстротечных, в живых.

Нечто схожее было у нас, молодых, но известных, с Лёней в отношении нашем к поэзии, в отношении нашем к речи.

Нечто схожее – и различное.
Почему? Потому что – личное.
Разделить его – невозможно.
За него и теперь – тревожно.
А тогда его – берегли.
Уберечь, похоже, смогли.
Сохранить свою суть – сумели.
Шли, по-своему каждый, к цели.
Но – какой же? Каждый – к своей.
Догадаться и ты сумей.
Ты – читатель. Стихи читай.
О подробностях – не пытай.
Вдосталь строк впереди и встреч.
Быть победе! Порукой – речь.

Приходим куда-нибудь, где нас, героев богемы, друзей закадычных, а может, и вынужденных друзей, временных, связанных тонкой нитью духовной, поэтов, и всё этим, в общем-то, сказано, и всё-то лишь с этим и связано, как будто свыше приказано и жизнью потом доказано, и творчеством нашим всем, и судьбами нашими, – ждали.

Два парня. Один – типично московский. Другой – нетипичный, вроде – почти столичный, частично – провинциальный.

Одногодки. Я – чуть постарше. На полгода всего. Но всё же!
Получалось уже, что Лёня, мой соратник, меня моложе.
Ненамного моложе. Но...
Старшинство моё – здесь видно.
Значит, Лёня – мой младший друг.
Так считал я. И – все вокруг.
Возраст значил для нас так много.
В годы молодости. Ей-Богу.
(Возраст значит сейчас для меня...
Что же значит? Да то и значит.
Пусть о чём-нибудь сердце плачет.
Но – хватает в душе огня).
Ровесники. Да. Ровесники.
Сверстники. Может – вестники?
Может, и так. Привет.
Всем. Из ненастных лет.

Я – значительно выше ростом, тогда ещё – стройный, худой, подвижный, с мгновенной реакцией – на звук, на свет, на малейший шорох, со слухом особым, обострённым, с прекрасным зрением, за себя постоять умеющий, на язык достаточно острый, весь приподнятый, словно рвущийся, прямо здесь, на месте, в полёт.

Лёня – ростом пониже, намного, но – крепенький, сбитый, складный какой-то, собранный в сгусток энергетический, в цепкий комок, из которого словно то и дело, всех задевая, сквозь время били в пространство электрические разряды.

Я – светлее, чуть с рыжиною.

И глаза у меня – зелёные.
И лицо – степное, широкое.
Лоб высокий. Скулы упрямые.
Скифский, крупный, с горбинкой, нос.
Щёки – выбриты. Губы – сжаты.
Напряжён – и всё же свободен.
Дар – при мне. И жизнь – впереди.

Лёня – потемнее, тёмно-рус, даже с приглушённой чернотой. Чёлка неизменная. Глаза – серые, чуть-чуть с голубизною, с дымкой, с поволокою, с хрустальным отсветом, с огромными зрачками чёрными, как уголья. На лбу – складка. Нос мясистый, как-то книзу вытянутый. Брови нараспашку. Щёки пухлые. Комочком – подбородок. Вроде бы – подросток, школьник. Нет, юноша. Главарь. К тому ж, поэт.

Одеты оба совсем не по-модному, – так себе, то есть, что было, то и носили.
Я, как правило, в свитере старом, оранжевом почему-то, и лишь изредка – в пиджаке.
Рубашка под свитером, клетчатая.
Брюки немаркие, тёмные.
Разношенные ботинки.

Губанов – тоже в каком-то свитерке, с вылезавшим наружу расстёгнутым воротником рубашки, порою – в курточке, широкой, короткой, тёмной.

Брюки, всегда мешковатые, на коленях слегка пузырились.

Ботинки были получше моих, но зато по-клоунски выгибались подошвы их и нелепо всё время шаркали.

Словом, одежда простая у обоих. Без всяких изысков.

Было бы что носить, и только. Вполне достаточно.

Чай, не франты. Нам не до этого.

Благо, жили поэзией мы.

Никаких, вроде, явных признаков безусловной горней отмеченности в нас обоих – в глазах, на челе, выражаясь высокопарно, как там пристально к нам не присматривайся, так вот, с ходу, сразу, немедленно, почему-то не разглядишь. Может, зорче взглядеться стоит? Вдруг откроется нечто важное, небывалое? Вдохновение не написано броско на лицах. Может, вспыхнет? Совсем ещё молоды.

В компании – вон какие колоритные дяденьки есть. Кудлатые, бородатые, в джинсах, в кожаных, замшевых куртках. Некоторые – при галстуках, в заграничных добротных костюмах, с перстнями на пальцах, с платочками напоказ в нагрудных карманах. Но таких – меньшинство. Большинство же – небрежно, с вызовом даже одеты. В ботинках грубых. В штанах, заляпанных красками.

Да и тётеньки здесь под стать мужской разношёрстной братии. Некоторые – покрашены, при кольцах и при серьгах. Остальные – попроще, выглядят как-то демократичнее, щебечут невзрачными птичками, закатывая глаза. И те, и другие знают цену себе. Вниманием они, столичные дамочки, вовсе не обделены.

Богема! И даже элита, как считают, они, наверное. Всем видом своим показывают, что вовсе не из простых они, что вы, что вы, они особенные, разумеется, даже избранные, несомненно, может быть – призванные, но – к чему? – да не всё ли равно! Сигаретным дымком растаяло что-то в прошлом. Какие правила в жизни бурной? Молва охаяла? Жест беспечный – да взгляд в окно.

Мы выпиваем с ними, курим, о чём-то сложном или простом говорим.
Но вот – после всех разговоров и затянувшихся сборов – просят стихи читать.
«Но лишь Божественный глагол...» – как Пушкин, раз и навсегда, сказал, – и всё преображалось.

И всё преображалось вдруг – так, словно подан знак, – и звук сулил мелодии начало.
И, за мелодией вослед, блаженный разливался свет, чтоб дольше музыка звучала.
И не какие-то юнцы, птенцы, пускай и молодцы, стихи собравшимся читали – но их поэты. Их! И все – богемный цвет во всей красе – прекрасно это понимали.

Ко времени СМОГа у каждого из нашей чудесной двойцы имелся уже, представьте, внушительный свод стихов.

Не какой-нибудь там несчастный десяток-другой текстов.

Сотни стихотворений и довольно больших поэм.

Вот что людей поражало. Прямо-таки озадачивало: как же это они, такие молодые, успели, сумели?

А вот, между тем, успели.

Так судьба вела. И сумели.

Молодость я вижу, явленную вновь.

Двойца премудрости – Истина, Любовь...

С Кублановским, которого звали мы все по-свойски, запросто, Кубиком или просто-напросто Кубом, получалась уже какая-то на проверку слишком условная, не совсем понятная троица.

С натяжкой, конечно. С большой.

Разве что – с доброй душой.

Но такой вариант, хоть Губанов и ворчал иногда на Куба, и претензии разнообразные, обоснованные вполне, к нему нередко высказывал, нас тогда почему-то устраивал.

Это несколько позже картина изменилась неожиданно. Да как!

Но об этом – нет, не сейчас, как-нибудь, при желанье, потом.

К основному ядру СМОГа приросло такое количество народу, что вспомнить всех сейчас я не в состоянии.

Да и незачем нынче, наверное, их, бесчисленных, вспоминать. Многие, большинство, со временем незаметно, исподволь как-то, естественно, без излишнего шума, тишком, отсились или стали успешно весьма работать в далёких от литературы, новой, оригинальной, и новейшего, авангардного, современного искусства, за которые в оны годы столь активно и страстно ратовали, с практической точки зрения удобных для них областях.

Назову, с отбором сознательным, по причинам весомым, некоторых наших бывших соратников, жизнь и судьба которых определилась в той или иной мере под знаком гостеприимного, свобододлюбивого СМОГа...

...И тут я прервал свой рассказ.

По всего-то одной-единственной, но зато уж важной, такой, что важней не бывает, пожалуй, мистической прямо, причине.

Я понимал, что должен, нет, просто обязан сказать о СМОГе – по-своему, то есть так, как сказать в состоянии в наше время лишь я один.

Больше – некому говорить.

Да никто и не знает всего, что известно мне, потому что, хоть и живы другие смогисты, не они ведь создали СМОГ.

Я отчётливо понимал, что следует мне написать – пускай для начала, пока что, хотя бы простенький текст, познавательный, что ли, в хорошем, понятное дело, смысле этого слова, – нечто вроде своеобразного, нужного пояснения – для интересующихся, благо их много, а толком никто ничего не знает.

Потому и приходится мне – отдавал я себе отчёт в этом – не напоминать, а сизнова всё объяснять.

Растолковывать даже – чтобы внести в эти сонмы вопросов, которые столько лет задают мне разные люди, в разной степени любознательные, и особенно молодые, в эти скопища всяких вопросов, напоминающих изредка пенящиеся под свежим, налетевшим внезапно бризом, плещущиеся растерянно, вкривь и вкось, винтом, гребешки морских, грузноватых, медлительных, широких, с налётом свинцовым, с полосками синеватыми, с прожилкою малахитовой, солёных, слоёных волн, движущихся спорадически к берегу нашему, некоторую, наподобие азбучной, ясность.

Пусть это подобье стихии немного уgomонится.

Я понимал, что просто вынужден написать хотя бы сжатый, доступный всем и каждому, текст.

Как говорится, для справки.

Больше того, был мне – голос.

Откуда? Конечно, из памяти.

Он буквально потребовал, чтобы серия книг моих о былой эпохе и людях, населявших эту эпоху, начиналась именно СМОГом.

Я попробовал объяснить, что о СМОГе уже в этой серии и так предостаточно сказано, в разных её частях.

Не хотел начинать со СМОГа.

Уверял, что сразу нарушатся – архитектоника, лад, то есть, попросту говоря, вся музыка. Но куда там!

Этот голос – из памяти, из былого, из времени – моего, сокровенного, личного, чистого времени, за которым, клубясь и тревожась, вставало пространство и уже назревало звучание речи, хранящей спасительный свет, – и слышать (упрямься, ну точно как сам я всегда) ничего не желал.

Он твёрдо и резко, так, что куда уж твёрже и резче, заявил: СМОГ будет – в начале!

И тогда я смирился. Что делать!

Пусть написаны книги – и мне поработать осталось над ними, чтобы всё привести в порядок, чтоб душою был я спокоен за них, – но уважить надо мне, конечно, голос из памяти, потому что моя это память, а не чья-нибудь, потому что и во времени я свободно путешествую, да и в речи, в русской речи, в стихии этой, животворной, вселенской, кровной, сорок с лишним уж лет я дома, – и начну я писать о СМОГе.

Вот и стал я работать. Был вечер. Незаметно и ночь пришла. Я трудился. Вначале раскачивался, а потом и втянулся. Встал. Посмотрел за окно, в черноту рыхлой, влажной зимы столичной, с огоньками её, с отраженьем в тёмном, звонком стекле оконном, словно в зеркале, нет, в Зазеркалье, там, за гранью, лампы настольной и лица моего. И вдруг...

Вдруг я понял, что всё – не случайно. Так всегда у меня бывает. Я услышал негромкий оклик издалёка. И вслед за ним – зов. И – звук. А за ним – и свет различил во тьме заоконной.

Кто там? Что там? Зачем? Время СМОГа?

Ну конечно же. Это оно.

Потом, словно щёлкнуло что-то, само по себе включилось, в небесах ли зимних суровых или где-нибудь здесь, на земле, да не всё ли равно, где именно, важно то, что совпало, сомкнулось нечто нужное, пусть и незримое, как дыханье, необходимое, звук дающее изначальный, находящее верный тон, приводящее речь в движение, строй дарующее и смысл всем словам, и мыслям, и краскам, проясняющее, как молния, память, книгой раскрытую вдруг, чтобы снова магический круг разомкнулся, чтоб вышли ко мне все, кто ждали вон там, в стороне, и молчали, чтоб вновь ожило всё, что в сердце когда-то цвело, всё, что может звучать и расти, чтобы радость в пути обрести, ну а с нею и счастье труда, чтоб вела и хранила звезда, я сразу же, как-то мгновенно, не умом, а хребтом, осознал: работать я стал поздно вечером, в четверг, да, конечно, двадцать четвёртого января, в нынешнем, то есть две тысячи втором, ни больше ни меньше, начинающемся году, в двадцать первом веке, представьте, до которого дожили мы и в котором живём, кто с чем, а теперь уже ночь – и, значит, двадцать пятое ныне число, – и следующей, неведомой, пока что, бессонной ночью будет двадцать шестое, да, так, января, столь грустная, светлая, мучительная, рачительная и памятная для меня дата создания СМОГа.

И тут же, словно прозрев, ощутил я всю необычность этой грядущей, зовущей к себе, знаменательной даты.

Боже мой! Да ведь тридцать семь лет прошло с той поры, когда появился в Москве наш СМОГ!

Тридцать семь! Роковое число – для поэтов? Нет, вековое. Потому что жива душа.

Потому что жива поэзия.

Потому что и СМОГ наш – жив.

Несмотря ни на что. Вопреки всем несчастьям и бедам. Он выжил.

Потому что он – смог. Сумел.

Вот чей оклик – и зов – и свет – этой ночью ко мне пришли.

Возвратились – и встали рядом.

Не случайно всё это, знаю.

В который уж раз убеждаюсь: то, что найти должно своё выражение в слове, приходит ко мне само.

Вовремя. Именно так.

Лишь тогда, в день такой, в час такой, в такую минуту волшебную, когда не записывать это ну просто никак нельзя.

СМОГ пришёл – в аккурат накануне своего, незаёмного, личного, тридцатисемилетия славного.

Надо работать. Пора.

Может быть, поскольку, друзья мои, уцелевшие и ушедшие навсегда, господа и дамы, звёзды всех промелькнувших лет, совершенно всё в этой книге само по себе и вовремя приходит ко мне, то и книга – непременно вовремя выйдет?

В свой, намеченный свыше, час.

Оклик, зов и свет! Жду я вас.

Выйдет всё-таки? Вы уверены?

Что же, вместе будем надеяться.

Это кто мне теперь говорит?

Ах, это вы, современники. Вы, мои редкие гости. И особенно – молодые.

Сколько уж лет вы меня донимаете, беспокоите, озадачиваете своими нескончаемыми вопросами!

Вот и сейчас, без всяких предупреждений, запросто, повинувшись вовсе не прихоти, но желанию разобраться в чём-то, важном и нужном для вас, в том, что сами поймёте, надеюсь, и осмыслите обязательно, чтобы знать об этом потом, умудрились вы появиться, пусть и в мыслях моих теперешних, всё равно ведь и это – реальность, и напомнили о себе.

Вижу я, на сей раз от вас так просто уже не отвяжешься. Упрямые вы, однако, если что-нибудь надо вам, люди.

Больше не от кого сегодня об этом услышать, особенно с подробностями и деталями характерными? Тоже верно.

Знаете что, любезные, умные, интересные, пытливые, прозорливые, вполне вероятно – счастливые?

Так и быть, кое-что, небольшое из того, что сказать в состоянии, что клубится на расстоянии то ли вытянутой руки, то ли прошлой эпохи, сложной, беспощадной и невозможной, отшумевшей вдали, непреложной, как и встарь, доселе тревожной, навсегда, расскажу я вам.

Вы меня уговорили.

Если хотите, можете, в духе постмодернизма, которым заражены вы поголовно, толком не ведая, что за штука такая этот разгулявшийся нынешний «изм», уж ясно, что не смогизм, не изумизм губановский, не моя, тем более, проза, которая, как полагают некоторые критики, серьёзные, даже солидные, уникальна и неповторима, поскольку, так получилось, это ещё и поэзия, считать это импровизацией, в какой-то мере, – для вас. Хотя, скорее всего, будут это лишь некие связные, меж собою таинственно связанные ритмом, строем, пластикой, музыкой, мыслью, памятью, светом давнишним и теперешним, звуком, ведущим за собою, всей речью родною, наброски, записи, образы, отрывки, фрагменты, куски, – так, что в голову мне придёт, причём, совершенно свободно, как говорится – по ходу.

Может, в такой вот, раскованной, но и собранной, тем не менее, сбитой в сгусток, в магический шар, ощущаемой мной как дар, потому и вполне оправданной всем роением её, фрагментарности – лучше всего высветляется и само желанное целое.

Одно, как известно, дело – ровная, непрерывная, вроде шнура, натянутого между двумя обструганными, забитыми в землю колышками, линия повествования.

И другое дело совсем – прерывистая, пульсирующая, джазовая – позволю определение это себе – с упоительно звонкими, вдохновенными, дерзновенными, разнообразными ритмами, с приоритетом светящегося в полёте над миром звука над скучным звукоподобием, размеренным и занудным, с акцентами закономерными, синкопами небывалыми, паузами, за которыми грядёт нарастание мощное музыки жизни бескрайней, музыки речи родной, и всего, что встаёт за этим изумленьем и постиженьем драгоценным празднеством, – линия.

Мне думается, что в такой вот прерывистости органичной, пусть для некоторых непривычной, очень личной, отнюдь не тепличной, драматичной, лиричной, эпичной, безусловно, трагичной, этичной, с тою мерой, что впрямь поэтичной, эталонной слывёт, гармоничной, вот и всё, никакой не практичной, изначально самокритичной, потому-то всегда и тактичной, только подлинной, щедрой, первичной, по наитию, по чутью, чтобы песню создать свою, чтоб мелодии новизна пробуждалась, точно весна, после зимних снегов и вьюг, чтобы солнце вставало вдруг над строкою любой и словом, над забытым в пространстве кровом, в измерениях любых, сквозь время, сквозь любое, в бесчасье, бремя, есть много своих достоинств и преимуществ даже.

Так говорить и писать – значит, прошу запомнить, говорить и писать динамичнее, в таком свободном движении, как-то сам по себе, возникает своеобразный монтаж кадров, или же образов, зримых, но всё же читаемых глазами с листа, нахлынувших разом воспоминаний, размышлений, историй, сцен, отступлений и возвращений к нужной сцене, связей, сцеплений, звеньев, нитью скреплённых сквозной, – не знаю уж, как поточнее назвать их, эти кусочки.

Вообще, скажите-ка мне, что за диво такое – форма?

Форма – это дыхание автора.

В ней – и стиль, и пластика, вся, как светящаяся привада.

Что такое тогда содержание?

То, что в данном, конкретном случае говорит находящийся в трансе, несомненном, творческом, автор.

А мало ли что и мало ли о чём он может, настроившись на волны свои запредельные, на частоты свои нездешние, выходя на связь безграничную с кем-то в космосе, говорить?

Каждому ведь своё.

Наитье. И с ним – чутьё.

Прозреньё. И с ним – пробел.

Был – смел. И остался цел.

Сумел разобраться. Смог.

(Других-то – в бараний рог!..)

Выжил. Явь или сон?

Круженье времён, имён.

Созвездия. Гроздь слов.

И вновь ты к рывку готов.

И вот побеждаешь вдруг.

СМОГ. Магический круг.

Однако, гости мои, слушатели, читатели, раз уж вы так возжелали услышать, а может, и в книге изданной прочитать что-нибудь, хоть небольшое, пусть, для начала, знакомства, о СМОГе, да ещё, к тому же, и с некоторыми, для вас интересными, ясно, для меня же – и сам я не знаю, каковы они будут, но жгучими, как огонь полыхнувший, острыми, словно иглы в шитье, подробностями, с именами, с конкретными фактами и всем прочим, чего не счесть, что погоду обычно делает в тексте, ауру создаёт, атмосферу необходимую, звук находит, единственно верный, по традиции устоявшейся незаметно тон задаёт, словом, утренней птицей поёт за окошком, свободно и смело, – то приступим, пожалуй, к делу.

Смотрите-ка, вы обратили внимание нынче на то, что сам процесс постижения вашего, современного, нашего, чудом выжившего, доселе для всех интересного, с некоей тайной, видимо, не иначе, легендой ставшего и позиций не сдавшего СМОГа – есть, прежде всего, процесс движения неудержимого, пружинистого развития?

Может, беседуя с вами, в чём-то я и повторяюсь ненароком, а кое-что и сознательно повторяю, ибо помню завет Чингиз-хана: если хочешь, чтоб мысль твоя запомнилась, не ленись её повторять, – а то и принципиально, упрямо подчеркну что-нибудь существенное, но, друзья мои, всё равно ведь в этом властном движении вдруг да возникнет, само по себе, вот, мол я, принимайте меня таким, каково я, сограждане или всякие там иностранцы, славысты, допустим, какие-то любопытные, нечто новое, для вас, для кого-нибудь, кто услышит, кто прочитает, кто попробует разобраться, постарается что-то понять, и принять, вполне

вероятно, коли по сердцу будет ему то, что я говорю, и запомнить, хоть рассказ мой, – вот вам, пожалуйста, я уже кое-что подчёркиваю, – чистая импровизация.

Очень возможно, что так вот и надо: идти вперёд, нащупывать, находить в самом движении – главное, и пусть швы наружу порой, и наскоро что-то смётано, и пусть монолог невольный переходит вдруг в диалог, а потом я уйти могу незаметно куда-то в сторону, а потом и вернуться к теме, – всё это, впрочем, неважно, а важно то, что из разных, пёстрых с виду кусочков, из этой вот любопытной, радужной, дробной мозаики – между делом, исподволь как-то, удивительным образом, право, складывается желаемое целое, и причём такое, какое иными средствами, как ни старайся, как ни пытайся достичь гармонии, полифонии, нужного равновесия, соразмерности всех частей, зрительного эффекта, звучания и всего, что делает прозу не только прозой, но и поэзией настоящей, весьма вероятно, ни за что никогда и не выразишь.

Вспомните, к примеру, «8 1/2»
мага и волшебника, чудесного Феллини.
Славный Федерико – словно свет весной,
с Джульеттою Мазиной, Музой и женой.
Вот они. Возникли – сами по себе.
Играет на волшебной серебряной трубе
великая актриса. Великий режиссёр,
молча постигая сказочный простор
измерений новых, смотрит на меня
пристально, сквозь время, полное огня.
Память, оживая, свечи мне зажгла.
Вдосталь этой ночью света и тепла,
чтобы не замёрзнуть зимнею порой
речи, находящей ритмику и строй,
музыку хранящей в слове золотом,
певчей, настоящей, днесь – и на потом.

Шествием барочным движутся ко мне
все, кто задержались где-то в стороне,
все, кто повстречались в давние года,
чтобы возвратиться нынче навсегда
в книгу, на страницы грусти и любви.
Что за небылицы? С пламенем в крови,
с именем в забвенье, временем во мгле.
Что за откровенья? Здесь ли, на земле,
с мукою вчерашней, там ли, в небесах,
с музыкой всегдашней, с вестью в голосах,
с ясностью во взглядах, с явью или сном,
все, в своих нарядах броских, – об одном:
в гуле карнавальном – сказка и судьба,
в грохоте повальном – звонкая труба,
горлом серебристым певшая о том,
каково артистам в мире непростом,
каково поэтам выживать в ночи.
Потому-то в этом – тайные ключи

от миров, которым по сердцу, пойми,
путь к иным просторам с песней меж людьми.

Уловили, теперь-то, мысль мою?

Там подобный подход к делу.

А, мол, что здесь мудрить? Будем двигаться, как придётся, куда-то вперёд, ну а всё
остальное, конечно же, само собою приложится.

И приложилось ведь, надо же, да ещё как приложилось! Сложилось в единое целое.
По-своему выжило. Выразилось.

Вот вам и метод. Вернее, сразу целый волшебный веер по наитию, по чутью, лишь в
движенье пришедших методов.

Нет и не было ни учебников, ни канонов жёстких для речи.

Она сама, без подсказок, верный находит путь.

...Ночь со снегом.

И – век со СМОГом.

Неужели – судьба?

Ну, с Богом!

Со времени возникновения СМОГа прошло тридцать семь лет – и это сейчас, только
сейчас, в январе снежном, в конце января, так вернее, друзья, две тысячи второго года, когда
я, выживший, с вами беседую.

Что будет потом – и сколько лет в грядущем пройдёт со времени возникновения СМОГа
– не знает никто из нас. Поживём – увидим.

Годы идут, и СМОГ существует. Вполне вероятно, что жить он будет – всегда.

Порукой этому – речь.

Огонь, что смогли уберечь.

Судьбы наши. Дороги.

Легенды и мифы – о СМОГе.

Враньё. Нелепые слухи.

Брюзжанье тех, кто не в духе.

Восторги всех остальных.

Во пределах разумных: земных.

А может быть – и небесных.

Мгновений тени чудесных.

Видений рои давнишних.

Сомнений клочья излишних.

Радений следы нездешних.

Отзвуки празднеств прежних.

Всё в былом, что дорого мне.

Слово. Дело. Свеча в окне.

Давно уже снят запрет и с самого названия, одних когда-то пугавшего, других же –
наоборот, притягивавшего к себе, властно, неудержимо, и со ставшей и впрямь легендарной,
через несколько десятилетий, (слишком яркой и слишком стремительной, слишком бурной,
пожалуй, особенно для властей всемогущих советских, для начальства разнообразного, для
писателей официальных, и для прочей нечисти), праздничной и трагической, вместе с тем,
фантастической, как мне кажется иногда, в моих зрелых годах, деятельности, странной всё-
таки, удивительной, не имевшей равной себе, или даже слегка похожей, ни в отечестве горе-

мычном, ни, тем более, за рубежом, знаменитого в прошлом нашего содружества молодых, творческих, смелых, сумевших сказать своё слово в поэзии, в прозе, в музыке, в живописи, искавших и находивших самую суть всего, что мир составляло, прекрасный и действительно сложный, людей.

Больше нет никакого смысла кому-то и дальше замалчивать тот непреложный факт, что и лидеры СМОГа, и некоторые другие участники этого замечательного движения давным-давно состоялись как творческие, подчеркну сознательно, именно так, прежде всего, творческие, то есть творящие, что-то серьёзное создающие, трудящиеся, находящиеся, годами, десятилетиями, в своих непрерывных трудах, работающие, порою на износ, вопреки всему, что мешает этой работе, упрямо, целенаправленно, и прежде, и ныне, всегда.

Не наша вовсе вина в том, что почти на всей поэзии, прозе и прочем, поверьте, внимания стоящем, в жанрах различных, с широким спектром, созданном СМОГом, до сих пор имеется горький, нелепый, ненужный, досадный, изначально коварный, что ли, ошутимый мною до боли, ещё не сброшенный временем, ржавый какой-то налёт мнимой, обманной, подлой, поощряемой кем-то непризнанности, абсурдной, неведомо кем управляемой, неутверждённости, не знаю, как и сказать подходчивее об этом, отсюда и все эмоции, неразрешённости, видимо, долгой неустойчивости, в пресловутом литературном процессе, прежде всего, и в сознании тех, кто в этом процессе, вроде, участвуют, хотя, скорее всего, им это просто кажется, потому что всё наилучшее, в литературе, в искусстве, создают искони одиночки, и даже в СМОГе мы были, несмотря на содружество прочное и на общность каких-то взглядов, интересов, ну и так далее, всего ведь не перечислишь, слишком разными, то есть были и тогда самими собой, но, впрочем, зачем пытаться разьяснить, если в этом когда-нибудь разберутся ещё, без меня, те, кому, по роду занятий, положено, я надеюсь, хоть в чём-нибудь разобраться, хоть что-нибудь, наконец, в минувшей эпохе понять, – нас всеми возможными средствами старались тогда уничтожить, а позже, когда это всё-таки полностью не удалось, всячески ущемлять, представлять в искажающем истинный облик явления свете, закрывать дорогу к изданиям, и по привычной, удобной для многих функционеров, закосневшей в своих проявлениях и всяческих модификациях, инерции, сообщая, делать вид, умело и ловко, что нас как будто и нет, ну кто мы для них такие, ведь у них есть свои кумиры, не стоящие обычно и ломаного гроша, и свои, заметьте, законные, уж не то, что мы, беззаконные кометы, в кругу расчисленных, по разнарядке, светил, фигуры, которые, вроде бы, по их, псевдоумников, мнению, погоду какую-то делают в таинственной области творчества, подумать ведь только, погоду, в творчестве, но не мы, да и мало ли что когда-то, в незапамятные времена, породила или творила неуёмная молодёжь.

Так, должен я вам, друзья мои, прежние, и теперешние, и, вполне вероятно, грядущие, открыто и прямо сказать, не считают наши читатели и сторонники, ни в родном отечестве, ни в зарубежье, многочисленные, замечу, те современники наши, с независимостью закалённой суждений, мнений и выводов, с собственным взглядом на мир, кому дорога настоящая творческая свобода, живое дорогое слово – эти вечные и всегда озарённые новизною понятия, сопряжённые с человеческим поведением, с деяниями серьёзными.

Сейчас, в наше время, судя по всему, настала пора оглянуться назад, в былое, поневоле взгрустнуть и вспомнить дорогие сердцу, встающие в отдалении, светлые образы и чередой непрерывно шедшие, поражавшие воображение жителей столицы, слишком уж бурные для них, ко всему привычных, вроде бы, небывалые, удивительные события, пристальнее взглядеться в навсегда, полагаю, близкую, для всех нас, без исключения, хорошо различимую

даль крылатых шестидесятых и с неминуемым вздохом вовсе не облегчения, но неубитой, по-рыцарски оберегаемой нами надежды на справедливость и пускай запоздалое даже, но всё-таки понимание тех, кто знают о нас, по-разному, большей частью так, понаслышке, и, намного реже, побольше, и на том спасибо, поскольку это лучше, чем просто забвенье, но забвения быть не может никогда, потому что смогли мы когда-то прорваться в грядущее, каждый, впрочем, по-своему, то-то каждый ждёт понимания, то-то же вместе мы понимания ждём, не напрасно пора пришла подвести большей частью печальные и трагические итоги, объяснить, что же это такое – подвергшийся в годы бесчатья, в эпоху тупую брежневскую застоя так называемого беспощадному, в пух и прах, чтоб следа не осталось, разгрому, изошрённой, жестокой травле, гонениям продолжительным, но, тем не менее, чудом, отчасти, а больше, как я понимаю, из упрямства, тогда молодого, из гордости не стареющей, из веры в призвание каждого, в светлое предназначение общего нашего дела, выживший, утвердившийся, что важно весьма, в сознании нескольких поколений, ставшей неоспоримой давно, неотъемлемой частью русского авангарда, героический, дерзкий, неистовый, вдохновенный, таинственный СМОГ.

Все вы помните, что расшифровка названия очень проста: Смелость, Мысль, Образ, Глубина.

Все вы знаете, что, вместе с этим, прижилось ещё и другое толкование непривычной, броской, краткой аббревиатуры: Самое Молодое Общество Гениев, предложенное Губановым наобум, на предмет эпатажа, и сразу же почему-то пришедшее по душе передовой молодёжи середины шестидесятых – неугомонным российским слушателям и читателям всюду звучавших стихов, завсегда ям поэтических многочисленных вечеров, запоминавшим тексты с голоса и переписывавшим затем их в свои тетрадки (что, если припомнить суждение Максимилиана Волошина, само по себе у нас почётно уже для поэта), привыкшим читать внимательно и сознательно распространять и новинки, журнальные, книжные, и всё, что не издавалось, но было для всех в стране как воздух необходимо, в машинописях самиздатовских, – филологам, искусствоведам, историкам, журналистам, актёрам, физикам, химикам, биологам, математикам и так далее, список велик, – всему пытливому, пылкому, ищущему, серьёзному, с требованиями строгими, всегда, к себе и другим, отстаивавшему свои взгляды и убеждения решительно и отважно, московскому, с вольнолюбивыми традициями, студенчеству, художественной богеме, жителям самых разных городов бывшего Союза, говоря значительно проще – тем, чьи души искренне жаждали подлинной новизны в современной литературе и в современном искусстве, тем, кто в эпоху былую уповали ещё на обещанные нам, уже не единожды, изменения коренные в жизни общества, тем, кто старались, и пристрастно, и объективно, осмыслить весь ужас минувших, столь тяжких, сталинских лет, и не ведали, что предстоит всем нам вскорости пережить.

Те, кому ныне уже за пятьдесят, и всё ближе к шестидесяти, и ровно шестьдесят, и за шестьдесят, представители поколения нашего, да и люди других возрастов, и старше, и несколько младше нас, хорошо, полагаю, помнят действительно небывалые, по дерзости и размаху, вечера поэзии, с выставками живописи авангардной, устроенные смогистами, чтения на Маяковке, отчаянно-обречённые шествия и демонстрации, милицейские, плотными стенами, начеку, наготове, кордоны, шеренги стоявших поблизости «воронков», лихих усмирителей – общественников, дружинников, срываемые блюстителями порядка наши афиши, нешуточный, было дело, испуг, панический страх прежде грозной администрации центрального дома советских литераторов (слишком привыкшей проявлять свой, по выражению Достоевского, в «Бесах», романе провидческом, для России, «административный восторг», а тут, поди же ты, надо же, несколько подрастерявшейся и при слухе «смогисты идут!»)

делавшей, в силу спасительной стадности, коллективную стойку на страже писательских незыблемых интересов, а также и репутации ЦДЛ, каковой мы обычно, да и не только мы, а многие люди в столице, называли, кривясь и морщась, преимущественно «гадюшником»), а заодно, из понятной солидарности, администрации клубов, домов культуры, библиотек и вузов, заметную незаметность везде, где только возможно, вовремя проявивших сереньких граждан в штатском, добровольных телохранителей наших, из тех любителей поэзии, что покрепче, защищавших нас в ситуациях крайне сложных, взрывоопасных, записи наших стихов на входившие в обиход магнитофонные плёнки, узнавание наших, своих, настоящих единомышленников, немедленно, с полувзгляда, понимание с полуслова, пыл, всеобщий ажиотаж, нервы, шок, отвагу, триумф, широчайший, сплошное эхо самых свежих вестей, резонанс, напряжённейшее внимание, и в родных пределах, и в западных, с их свободой и гласностью, странах, к событиям, о которых говорили в ту пору все, помнят дух, окрылённость, радостный, всеохватный огонь общения, многогранность и щедрость открытий, ощущение свежей, бунтарской, наконец-то нашедшей выход, молодой, возрастающей силы, сплочённости этой новой, не случайно возникшей волны отечественного, родного, по всем статьям, авангарда.

Никем из тех, кто когда-то были, одни – очевидцами, другие – прямыми участниками этого самозабвенного, жертвенного порыва на самой заре безвременья, не забыты ещё и последствия – по команде, незамедлительные, жестокие, грубые действия, сознательно сконцентрированные, чётко, умело рассчитанные, сё отработанными виртуозно, за десятилетия сталинщины и хрущёвских времён, приёмами, намеренно погубившие прекрасное начинание, вернее, острейшим образом всем нам необходимое в те годы объединение творческой молодёжи, под знаменем вольнолюбивого, в основе своей правдивого, не из блажи ведь чьей-то негаданной, не из прихоти чьей-то неведомой, но, возможно, свыше отмеченной многообразием редкостным расцветающих дарований, не забыты никем предпринятые, для скорейшего удушения творческого горения, казённые, злостные меры, результат которых известен хорошо и давно: трагические, изломанные, искалеченные судьбы всех, самых талантливых, основных участников СМОГа.

В ход было пущено всё, ведь арсенал имеющихся в наличии «средств воздействия» на умы и души сограждан содержался, на всякий случай, много лет, в образцовом порядке, – и кошмарное колесо кафкианского толка немедленно завертелось в нужном властям направлении, деловито, достаточно быстро, заранее, как положено, то есть обильно смазанное машинным маслом бюрократизма, доносительства, карьеризма, выслуживания, угодничества, проработок, слежки, угроз, по команде сверху задействованной, тут же, одновременно, целой армии служб, инстанций, от низовых до высших, аппарата сытых чиновников, литературных монстров, прихлебателей журналистских, исполнителей, подпевал, всесильных тогда, бесчисленных и страшных организаций, – и вся эта грандиозная система, фантазмагорическая, да и только, иначе не скажешь, заработала безотказно: изгнание, с шумом, из вузов, показательные расправы по комсомольской линии, собрания с разбирательством состряпанных наскоро «дел», высылки «за тунеядство», что широко, масштабно раньше практиковалось, без учёта немалой работы литератора или художника, милицейское наблюдение днём и ночью, запрет на издания, мгновенно организованная, продуманная кампания в печати периодической, физическое «вразумление» строптивых и непокорных, бесчисленное количество искажавших решительно всё, намеренно запускаемых в народ, нелепейших сплетен, слухов и разговорцев «со значением», втихаря, закрытие выставок живописи, трактовка смогистского творчества как, представьте, «идеологической диверсии», ну и ну, допросы, шантаж, запугивание, попрание прав гражданских, унижение человеческого достоинства, провокации, воздвижение всевозможных заслонов и стен, да и многое другое, чего, дабы

сызнава, как-то выжив, не растревлять до сих пор не зажившие раны, не хочется ворошить, хотя, подчеркну, свой счёт губителям нашим, гонителям, изуверам различных мастей, мы, выжившие, уцелевшие чудом, выдавшие виды, друзей своих провожавшие и в последний путь, и на запад, в эмиграцию, в ссылках и в тюрьмах их поддерживавшие годами, выручавшие их, отравленных всякой дрянью, из психбольниц, поневоле узнавшие в жизни такое, чего и врагу роду не пожелаешь, предъявить, безусловно, можем.

(...Ну прямо статья получается?..)

Скажу-ка я лучше – по-своему.

В своём, разумеется, духе.

Продолжу свой разговор.

С читателем книга встречается.

Свободно она построена.

Присутствует – в зренье и слухе.

И – птичий с ней дружен хор.

Своим желанным рождением и дальнейшей невиданной действенностью СМОГ целиком обязан нам двоим – Леониду Губанову, другу молодости моей, фантастической, так, наверное, показаться кому-то может, а на деле, скорее, горькой, хоть и светлой, на удивление, непростой, нет, конечно же, сложной, так правдивей и так вернее, откровеннее и честнее, всем известной в богеме столичной, тем, кто жив, и кого уж нет, выходящей теперь на свет и, бесспорно, фантазмагоричной, понимаемой не вполне теми, кто не бывали с нами в те года, где свободы знамя поднималось во мгле, – и мне.

Моей была – с памятной всем нам осени шестьдесят четвёртого поступательно втолковываемая, словно школьнику отстающему необходимый урок, ему, с его самомнением, гонором и характером не из лучших, если не хлеще, но зато и с талантом огромным, за который ему прощалось очень многое, чуть ли не всё вообще, все выходки дикие, нрав крутой, алкогольные подвиги, сумасшедшинка небезопасная даже в кротких его словах или взглядах лучистых, серых, с бирюзовою поволокой, напряжённо и цепко глядящих на людей, магических глаз, – идея объединения молодых, и в Москве, и в провинции, по всему отечеству нашему, талантливых творческих сил.

То есть – тот, камертонный, знаковый, самый важный, определяющий чистый звук, за собой ведущий всё звучание, общий строй возникающей вслед за ним, с новизною своею, музыки, драгоценный, первоначальный импульс, тут же, мгновенно, дающий свет и кровь идее рождённой, с которого всё, как водится, обычно и начинается, чтобы жить, – исходил от меня.

Губанов был чрезвычайно, болезненно восприимчив.

И нередко чью-нибудь мысль, или фразу, или удачную, позабористей, поострее, с парадоксами, с юморком, непременно солёным, тираду, или шутку, порой грубоватую, он, сразу же переосмыслив и твёрдо усвоив её, простодушно считал своей собственной, принадлежащей, надолго, лучше бы навсегда, отныне только ему.

Ладно, чего уж там!

Не считаться ведь нам – через годы.

Зато у него есть немало своих безусловных заслуг.

И в первую очередь – вот что выделить надо – с названием, с именем, ёмким, точным, содружества давнего нашего.

Что сразу дало развитие идее светлой моей.

Для него же, буяна, былинного Соловья-разбойника, может быть, ну а может, Аники-воина, или, кто его знает, всякое ведь бывает у нас, натурального, без булды, как сказал бы сам Лёничка, ухмыльнувшись, богатыря, – стало делом жизни. Главнейшим.

Лебединой песней – на годы.

От начала – и до конца.

Он жил ею. Сросся с нею.

Идея стала – реальностью.

Но – чьею? Моей? Отчасти.

Губановской – целиком.

Эта идея моя, подкреплённая предыдущим, уже накопленным в юности, криворожским, с горчинкой, опытом, совпадала с давнишней, упрямо вынашиваемой, губановской мечтой о каком-то впрямь великолепном содружестве творческих сплошь людей, чуть ли не братстве, во всяком случае – славной компании, где все, без разбора, оптом, были бы в доску своими и все что-нибудь хорошее, интересное, да создавали бы, словом, что-то творили, – стихи ли писали, прозу ли, рисовали или ещё что-нибудь, – неважно, что именно, делали, были бы только все други – людьми искусства, были бы только – все вместе, а всё остальное – потом, с этим ещё разберёмся.

Об этом я говорил, вкратце, несколько ранее, но это, думаю, надо ещё разок подчеркнуть.

Ведь получилось так, будто сомкнулись разом, соединились два оголённых, жгучих конца электрического, витого, провода, и прошёл по ним трескучий разряд, прошёл, заструился – ток.

Ну а ежели есть в сети ток, то, стало быть, зажигается там, где ждут его, разгорается, чтобы тьму разогнать, и свет.

Стоит сказать об осени шестьдесят четвёртого. То есть – осени всех начинаний, и надежд на всё, что свершиться непременно должно, возможно, и не сразу, пусть постепенно, как уж выйдет, потом, в грядущем, том, в котором нам жить да жить, как наивно и окрылённо представляли мы, понимая далеко не всё, но стараясь, в меру сил своих, прозревать в яви, несколько романтической, знаки горести непривычной, звуки музыки горемычной приучаясь вдруг различать.

Стоит, право, сказать об осени – той, в которой уже содержалось всё, что позже, неслышанно скоро, получило, как только в сказках, с волшебством их и чудесами, полагаю теперь, и бывает, но и в жизни порой случается, в чём давно уж я убедился, на своём, не на чьём-нибудь, незаёмном, немалом опыте, на своём, тернистом пути, продолжение и развитие.

Стоит сказать об осени откровений и озарений.

Пусть и вкратце. Под настроение.

С ностальгией, вполне для меня, поседевшего, разумеемой.

С грустью, слишком понятной нынче.

Это грусть по радости, бывшей очевидной такой когда-то, что никак невозможно хотя бы на минуту какую-нибудь, или так сегодня скажу я, на ничтожную долю секунды, минимальную кроху мгновенья, попытаться забыть её, —

нет, вовсе не для того была она мне дарована, вовсе не для того переполняла меня, чтобы в мыслях моих, порою смутных, или сумбурных, или ясных, любых, могло подобное промелькнуть, —

какое там! – наоборот, с каждым годом всё приближается ко мне эта дальняя осень, всё отчётливей укрупняются дорогие черты её, чародейским алмазом оттачиваются все, даже самые малые, детали её и грани, —

и она подходит вплотную, приближает лицо своё, чистое, молодое, белое, свежее, золотым озарённое светом, и взгляд её ясный встречается с усталым взглядом моим, и силы в душу вливает, и легче тогда мне дышать,

и слышу я голос её, молодой и прекрасный, и зов её, неустанный, негромкий, но властный, в ночи различаю вновь, и рвусь к ней – сквозь время с пространством, сквозь век, с его самозванством, сквозь боль, с её постоянством, сквозь жизнь и сквозь речь свою, —

и я возвращаюсь к ней, возвращаюсь я, – ко всему несбывшемуся и сбывшемуся, с утратами не смирившимся, с прозрениями сдружившемуся, к началу самому чаяний, к истоку прозрачному веры, к далёкой заре любви,

ко всему, что было моим, и доселе, свидетелем Бог в небесах, никуда не ушло, никому в минувшем не отдано, никогда в скитаньях не предано, что сберёг я свято в душе, что пронёс через годы трудные, под звездой высокой моей,

что со мною осталось, да так, что давно уже, так получилось по судьбе, стало мною самим, стало всем, что меня составляет, что возможность дышать оставляет, естеством, волшебством, одиночеством, ясновидчеством, празднеством, творчеством, всем с людьми и с природой родством,

всем, чем жив я, чем я мире поддержан, что само без меня не может, как и я не могу без него, что сумело меня спасти, как и я его спас от забвенья, взяв из памяти нити и звенья, – пенья, счастье, страданье, горенье, – навсегда, – обретенье пути.

Когда ты ещё так молод, и рад, что живёшь в Москве, о которой мечтал так истово там, у себя, в провинции, а теперь ты житель столицы, студент университета, и, несмотря на учёбу, ты совершенно свободен, сам предоставлен себе, независим, насколько возможно,

волен сам, без чьих-то подсказок, распоряжаться временем, не чьим-нибудь, а своим, собственным, личным, точным, вполне возможно, бессрочным, да ещё и пишешь стихи, больше того, твёрдо знаешь, что ты поэт, и тебя уже знают здесь именно как поэта, —

жизнь таинственным свитком, охотно, как будто играючи, быстро, легко, разворачивает именно перед тобою, пришельцем издалека, неофитом, гостем восторженным, самые невероятные возможности, и остаётся лишь выбирать из них наиболее интересные,

и ты, человек по натуре домашний, довольно замкнутый, с детства сосредоточенный на думах вечных своих, жить начинаешь вдруг в совершенно ином ритме, а может, в другом измерении, сам толком не понимая, что с тобой происходит, почему же так получается,

ты превращаешься, надо же, ну и ну, в человека богемного, и знакомства твои всё больше не светские, а богемные, ты почти в Париже, не так ли, карнавалы, пирушки, миракли, довольно воображения, ты вольная птица, ты вправе, стремясь к победе и славе, сам принимать решения,

ты дышишь свободой, при всей несвободе советской, которую ты, как и дружеский круг твой, да и все вокруг, не желаешь принять во внимание, так она для тебя несущественна, благо младость всегда естественна, да и радость, возможно, вещественна, то-то смотрит на мир торжественно и гуляет честная компания,

ты всегда устремлён в грядущее, новизны и отваги ждущее от людей, далеко ведущее, чтоб воочию видеть сущее там, где примут и где согреют, и в пути своём ты намаешься, но идёшь и ввысь поднимаешься, чтоб в годах, где казнят, не жалуя, слышать музыку небывалую – в ней, и только, речь твоя зреет.

А Москва хороша! Сентябрь, и небо то ласково-синее, то лиловое, то седое, смутно-мглистое, с ветерком, и листва желтеет, алеет, и срывается вдруг с ветвей, и летит, кружась над землёй, в даль куда-то, сквозь время, в пространство, и город – кругами, кольцами, звеньями, клиньями, сферами, светлый, просторный, новый в древности, в тайне своей, и всё это – для тебя, и ты для этого – здесь, чтобы помнить об этом повсюду, где бы ни был в грядущем ты, и вьются в воздухе звонком тончайшие нити духовные, и вселенские связи незримые, столь щедро сущим даримые, ощущаются, в общем единстве, в цельности восприятий, наитий и вероятий, в достоверности бытия.

Жил я тогда, в период молодости крылатой, на милой мне Автозаводской, весьма из себя оживлённой, достаточно многолюдной в определённые, утренние и вечерние, с их толкотнёй, ненавязчивой и привычной почему-то, часы дня, как-то в меру, без перебора, заполненной легковушками, автобусами, троллейбусами, фырчащими грузовиками, кое в чём типично столичной, но, впрочем, и это существенно, порядком-таки отдалённой от фортисистого, яркого центра, не подчёркнуто вовсе окраинной, нет, конечно, это не так, но уж точно, так выходило, так мне виделось, так получалось, несколько провинциальной, благодаря своим на удивление тихим, не по-московски просторным, с закоулками, с заковырками, с подворотнями и деревьями, разросшимися широко и свободно, как на приволье, миролюбивым, спокойным, добродушным, уютным дворам, ну а также, казалось мне, по причине присутствия сквера, пусть и узкого, но зато растянувшегося во всю свою, не измеренную никем из приезжих и горожан, удивительную, наподобие долговязой косы приморской, с неизменным шелестом лиственным вдоль ограды сквозной, длину, островную, с пространством, выделенным для прогулок и медитаций, посреди двух дорог, ведущих в неизвестность сплошную, улице, всего-то, представьте, в нескольких, пустыковых, коротких минутах неторопливой ходьбы от одноимённой станции спасительного метро, в непосредственной, ближе некуда, близости от знаменитого когда-то гиганта отечественного автомобилестроения, завода серьёзного «ЗИЛ».

Возможность пожить в пустующей годами целыми комнатами небольшой, обжитой, с минимальным соседней числом, коммуналки предоставили мне знакомые. Месяца три-четыре, а может быть, и подольше мог я здесь обитать.

Потом придётся, наверное, смиренно мне перебраться в общежитие МГУ, но ведь это будет – потом.

А сейчас я себя ощущал хозяином положения.

Было, было ведь у меня московское, вот что здорово, не какое-нибудь, на птичьих, никудашних правах, шаг туда, шаг сюда, не шуметь, не мешать, не сорить, не ходить, не звонить, нет, хорошее, полноценное, замечательное жильё.

Пусть и временное, да зато, согласитесь, почти своё.

Восемнадцать, всего-то, лет, восемнадцать, уже так много, мне казалось, целая груда привезённых с собою стихов, стопка книг, любимых настолько, что расстаться, хотя бы на время, ни за что бы я с ними не смог, и возил их повсюду с собою, и привёз их сюда, в Москву, что, представ предо мной наяву, приняла меня и приютила, словно так вот и надо было, словно так вот и полагалось, чтобы всё к ней само прилагалось, одежда – какая была, стол, и на нём приёмник, из которого тихо лилась, растворяясь в пространстве, музыка, огромное, старомодное, многостворчатое окно, из которого плавно струился прямо в комнату, заполняя всю её, целиком, широкий, пульсирующий, осенний, предвестьем всех воскресений и всех грядущих спасений мерещившийся не даром, божественно ясный свет, – какое счастье, какое блаженство, и всё под рукою, присутствие воли, покоя, и равного этому нет!

Вставало солнце, и я просыпался, тут же вставал, шурясь от ярких, радостных, бивших в окно лучей, умывался, заваривал чай, пил его за своим столом, поставив чайник и чашку посреди разбросанных рукописей, включал по привычке приёмник, слушал мажорные, звонкие, с огоньком, с неизменным задором, утренние мелодии, потом собирался неспешно, выходил вразвалочку из дому, ехал в университет, в старое, милое здание на Моховой, на занятия, или же, пропуская их, отправлялся бродить по Москве, и так вот изо дня в день, всегда и везде на подъёме, с оптимизмом, вовсе тогда, в годы прежние, не удивительным, с хорошим, всегда, настроением, с постоянным, на редкость острым, замечательным ощущением вхождения, даже вrastания в неизменную новизну постигаемой мною ныне, лишь меня одного дождавшейся и дождавшейся наконец, состоявшейся, это я знал, со всеми своими градациями и бесчисленными подробностями, из безграничного слова: быть! – созидательной, творческой яви.

Я возвращался домой, переполненный впечатлениями.

Я писал стихи. Разумеется. Как же было их не писать!

Сохранились не все они. Так уж вышло. Так получилось.

Изрядную часть, в сердцах, в состоянии мрачном, тяжёлом, в наваждении, что ли, нахлынувшем, я однажды вдруг уничтожил.

(Многое, слишком уж многое, потом уже, позже, в период нашумевшего нашего СМОГа, в начале гонений, в апреле, тоже я уничтожил, сознательно, собственноручно.

С воспалённой головой. Почти обречённый. Измученный бессонницами, безнадежностью положения своего, подвешенностью состояния – между славой тогдашней и явным крушением всех надежд молодых. Возможной тюрьмой.

Уничтожил. Битком набитый моими стихами ранними да ещё и прозой тогдашней, вместительный саквояж.

Зачем? Не знаю – зачем. Отчаяние охватило.

Находились приятели рядом. Ну и что? Молчали. Смотрели.

Никто из них, очевидцев, не удержал меня.

И жгучее, самое первое, ранящее сомнение в истинности отношений, которые, по наивности всегдашней, считал я дружбами, шевельнулось тогда во мне).

Но всё это было ещё впереди, в отдаленье неясном, и казалось оно мне прекрасным, – и об этом, пока что, конечно, вдохновенный, подвижный, беспечный, молодой, ничего я не ведал. Тогда, удивительной осенью шестьдесят четвёртого, жил я Москвой, поразившей меня красотой своей, жил стихами.

Некоторые из них уцелели, даже, частично, вошли в мои ранние книги.

Звук их, протяжный, чистый, живой, возникал то и дело, приходили новые строки, свободно, сами собою.

Я порою записывал их.

Иногда, поначалу, так, вдруг, зачем-то, по странной потребности, по причине какой-то загадочной, чтобы выплеснуть некие образы на бумагу, от случая к случаю, как-то исподволь, под настроение, но потом всё чаще и чаще, увлечённо, всерьёз, рисовал.

Очень много, нередко запоем, одержимо, пожалуй, читал.

Покупал, бывало, настроившись на волну благодущную некую, в нашем скромном, с виду окраинном, небольшом, но зато под боком находившемся гастрономе бутылку, зелёную, длинную, российского полусладкого, недорогого, приятного, лёгонького вина, граммов двести, не больше, грудинки, в соседней уютной булочной – белый хлеб за двадцать копеек, большой батон, аппетитный, с подрумяненной корочкой, свежий и пахучий, быстро вбегал

по ступеням широким лестничным к себе на этаж, заходил в квартиру, потом в свою комнату, за столом поудобней устраивался, в одиночестве пировал.

По ночам в соседнюю булочную, нашу булочную, привозили горячий, только что выпеченный в районной хлебопекарне, с пылу, с жару, свежайший хлеб, и, когда я домой возвращался поздно, за полночь, то всегда покупал его здесь и ел, с удовольствием неизменным и доселе мне памятным, прямо на ходу, во дворе, на лестнице, на пороге спящей квартиры.

Некоторые, не все, разумеется, только считанные, обитатели ближних домов, и особенно пенсионеры, старики и старушки с авоськами, приготовленными заранее, специально сюда приходили ночью, чтобы купить этот хлеб.

Он был вкусен, и чёрный, и белый, любой, всенародный хлеб, вкусны были и горячие, румяные, пухлые булочки.

Во дворе, вплотную почти к распахнутой двери булочной, возле чёрного хода, хозяйственного, подъехав умело так, что ни дальше, ни ближе нельзя приблизиться, тихо стояла грузовая машина-фургон с привезёнными для продажи ранней, утренней, бойкой, свежими, нарасхват обычно идущими, для людей важнейшими, хлебными, то есть главными впрямь изделиями.

Её разгружали хмурые, молчаливые, сильные грузчики.

Сноровистыми, отработанными движениями они вытаскивали деревянные поддоны со свежим хлебом и до невозможности просто аппетитными, нежными булочками, от которых облаком белым поднимался горячий пар, и, один за другим, привычно для себя, как-то слишком быстро, взад-вперёд косолапо шагая, относили их в магазин.

Вокруг машины, кольцом, толпились пенсионеры.

Выходила весьма упитанная, закутанная платком, приёмщица свежего хлеба, продавала его старикам.

Никому никогда, ни разу, сколько помню я, не отказывала.

Старики, получившие хлеб, загружали его в авоськи, чтоб сподручней было нести, но потом, удержаться не в силах от соблазна, по-детски просто, по чуть-чуть, ну в точности так же, как и я, горбушку надламывали, надкусывали с удовольствием хлеб, хрустящий, свежайший, прямо на ходу, потому что стерпеть, не попробовав хоть кусочек, невозможно было, и, шаркая негнушимися ногами по выщербленному асфальту, с довольным, весёлым видом, по своим расходились домам.

Здесь же, на запах дразнящий вкусного свежего хлеба, собирались ещё и собаки. Они виляли хвостами и смотрели людям в глаза. Все охотно их угощали.

В черноте прохладной, осенней, государственной, общей для всех, участливой, миролюбивой, даже, вроде бы, гостеприимной, по-своему, разумеется, по-хорошему доброй ночи москвичи жили хлебом единым, да и не только им.

Где-нибудь, неведомо – где, всё едино и всё в разброде, всё и в сердце, брат, и в природе, всё кругами пойдёт по воде, то и дело да раздавался то возглас, то смех, то плач, то шальной, хмельной, забубённый, подгулявший обрывок музыки вылетал из окошка, распахнутого, по традиции, в никуда, благо дальше некуда просто вырываться из городов, то сирена вдруг милицейская, поперхнувшись, истошно выла, то – да мало ли что ещё где-то рядом происходило.

Но, в общем-то, вся, как есть, без прикрас и соплей, обстановка была достаточно тихой, вполне, полагаю, мирной, не опасной отнюдь, и вовсе не почти фронтовой, с горячими точками пресловутыми на любом шагу, как сейчас.

Машина-фургон, хлебовозка, разболтанная, скрипучая, пропитанная насквозь ароматным, устойчивым запахом различных изделий хлебных, разгружалась и уезжала.

Двор постепенно, как водится, необратимо пустел.

Дома, в уютной комнате, за столом с моими бумагами, с ветерком законным, я ел свежий хлеб, запивая его терпким холодным чаем.

И вполне был доволен и счастлив.

А когда покупал вино и, глоток за глотком, в тепле коммунальной уютной комнаты, пусть и временного пристанища, ненадолго, да моего, не какого-нибудь, столичного, по московским понятиям отличного, для меня-то, для одного, неторопливо пил его за своим столом, у окна, тогда, с умилением, накрепко со вздохом невольным, по радости ли, по молодости ли, связанным, вспоминаю, отшельник нынешний, набродившийся в годы прежние вдосталь, видимо, скиф седой, почему-то и состояние мыслей, сердца, души, всего естества моего тогдашнего, у меня бывало особенным.

Вино, пускай и хорошее, по тем временам, не халтурное, не убойное, как позднее, посреди всеобщего пьянства на просторах родной державы, небольшой, в меру самую, крепости, всё-таки, незаметно, давало себя знать.

Приятнейшее тепло разливалось нежданно по жилам.

Я чувствовал, с изумлением, забавным теперь, что хмелею.

Включал приёмник, среди множества голосов, звучавших в эфире, шумов, трескотни цикадной, разноязычных слов, новостей, обрывков мелодий, сообщений о достижениях на пути в наше светлое завтра, призывов, докладов, лозунгов, директив, обличений, песен о рабочих и космонавтах, находил хорошую музыку, с настроением, слушал её.

Вечерело, и широченное, в красных пятнах закатных, тускнеющих, исчезающих разом, окно постепенно синело, чернело. На стекло налипали жёлтые, сорванные с деревьев окрестных, влажные листья, брошенные на него с размаху резким, как окрик, холодным порывом ветра.

Начинался вечерний дождь.

Поначалу он просто накрапывал.

Но вскоре уже упругие, тугие струи его, словно длинные стебли, срезанные под корень лезвием ветра, за окном проносились моим вкось куда-то – и падали наземь.

На оконном стекле, рядом с ярким отражением лампы настольной, всей комнатной обстановки, стола, моего лица, сгущались крупные капли, превращались в бойкие струйки, в ручейки, полноводные, бурные, непрерывно стекали вниз.

Музыка законного дождя разрасталась и смешивалась с музыкой для настроения, раздающейся из приёмника.

Стекло, между тем, туманно, плотно запотевало, и отражения в нём теряли чёткость бытию, становились размытыми, смутными, двоились, медленно таяли.

Меня клонило ко сну.

Я засыпал под шум дождя, идущего ночью, чтобы проснуться утром грядущим привычно рано, совершенно бодрым, здоровым, – и новый день начинался, и всё у меня начиналось, как и прежде, празднично, сызнава, хоть всякий раз и по-разному, и я был готов неизменно к продолжению новизны осенней, и осень всё длилась, не спешила меня покидать, и верность её всегдашняя всему, что в душе хранил я, была для меня дорога.

Лирика, скажете вы.

Лирика, так вы решите.

Да, лирика. Та, в которой уже назревал и эпос.

Тема и вариации.

Голос и свет. Из прошлого.

Память. Отзвуки праздников.

Музыка сентября.

Жизнь моя, поначалу размеренная, но потом, уже вскоре, поскольку иначе не получалось в столичных ритмах, порывистая, стремительно становилась чрезмерно бурной, насыщенной всевозможными, большей частью интересными для меня, иногда и действительно важными, для сердца и для души, для творчества моего, в условиях новых, событиями.

Собственно, всё абсолютно вокруг меня было событием.

Воспринималось мною в ту пору – именно так.

Встречи ли это были, знакомства ли, приключения ли какие-нибудь, путешествия, – всё принималось мною близко к сердцу, так выходило, заставляло над этим задумываться, запоминалось надолго, может быть – навсегда.

В самом конце нагрывших с новшествами своими, «судьбоносных», как говорилось в то время, восьмидесятых Саша Величанский написал:

– В 1964 году на исторический факультет МГУ был принят никому не известный абитуриент по имени Владимир Алейников. Через год его знала вся «литературная» Москва в качестве одного из ведущих поэтов литературного направления СМОГ.

Это вроде и так, но всё-таки, всем скажу, не совсем верно.

В шестьдесят четвёртом году я как раз был уже известен в Москве, пусть и «литературной», но и это уже, согласитесь и поймите меня, господа и дамы, было немало, и эту известность, реальную, следовало заслужить.

Не так-то просто она, между прочим, к другим приходила.

Но ко мне такая известность пришла почему-то сама.

Причём, если точным быть, пришла она годом ранее, осенью шестьдесят третьего, в чудную пору, когда я впервые долго жил в столице и познакомился с людьми хорошими, ставшими, на все времена грядущие, моими друзьями, приятелями и просто знакомыми добрыми.

Среди них это, в первую очередь, Дима Борисов, Володя Брагинский, Аркадий Пахомов, Коля Мишин, Саша Морозов, Зина Новлянская, Слава Самошкин, Юра Кашкаров и прочие москвичи, все – участники многим памятного литобъединения, названного, в романтическом духе, в тон поветриям шестидесятых, «Бригантина», существовавшего, процветавшего на филфаке МГУ, поначалу, потом, без всякой официальной, чуждой всем нам, – просто друзья, круг, достаточно тесный, с осени шестьдесят четвёртого ставший, постепенно, закономерно, так уж вышло, всё разрастаться.

Были они людьми образованными, в разной мере, больше, меньше ли, но способными, для меня – всегда интересными.

Они, столичные жители, золотая, сплошь, молодёжь, со своими свободными нравами, со своими на редкость широкими замашками, так естественно сочетающимися с трезвейшим, без восторженности малейшей, без наивности невразумительной, жёстким, цепким взглядом на жизнь, на историю, на политику, на действительность, на искусство, на любовь, на веру, на дружбу, меня, человека приезжего, провинциала, приняли – сразу же, безоговорочно, приняли – навсегда.

Оценили, признали своим.

Вот отсюда всё и началось.

Так что в том сентябре незабвенном, о котором я говорю, череда знакомств моих только стремительно увеличивалась.

Тьма-тьмущая как на дрожжах расплодившихся в одночасье литобъединений московских, на которые аккуратно приходили, как на работу, что-то пишущие москвичи, процветала тогда – и все они зазывали меня к себе.

Здесь уместно будет заметить, да к тому же это ещё и занятно, и показательно, в чём пришлось убедиться мне, вот что.

Когда я, в кои-то веки, минувшей зимой, в декабре, наконец-то выбрался на люди, в литературный клуб, находящийся в помещении бывшего, разумеется, группкома, так он, представьте, назывался встарь, литераторов, где состоял и я в первой, тяжеловатой, половине восьмидесятых, в стареньком флигельке, в Георгиевском переулке, поддавшись на уговоры клубного руководства почитать там хотя бы фрагменты неизданных книг моих, и, впервые в жизни моей читая прилюдно прозу, для меня самого ещё свежую, а совсем не стихи, пусть и старые, пусть и новые, всё равно, что куда для меня привычнее, поведал собравшимся слушателям об Игоре Ворошилове, друге моём покойном, великом русском художнике, и это были куски прозы о Ворошилове, называющейся «Добрый пастырь», – я увидел в зале, с немалым, прямо надо сказать, изумлением, нескольких очень давно, с осеней шестьдесят третьего – шестьдесят четвёртого, с тех, ключевых, молодых, камертонных времён, знакомых мне персонажей, посетителей неизменных тех самых, давнишних, бесчисленных, московских литобъединений, кочевников по людским сборищам, по тусовкам, как теперь говорят, по традиции, полагаю, забредших сюда.

Постаревшие, сплошь седые, некоторые и вовсе настоящие старики, они точно так же, как некогда, встарь, в молодые их годы, живо, даже азартно, впитывая в себя каждое слово моё и потом непременно высказывая своё весомое мнение, бывшее, почему-то, всеобщим, сплошным одобрением, реагировали на моё первое клубное чтение.

Вот что значит сила привычки!

Удивительное постоянство!

Что за страсть такая великая неуклонно движет людьми?

Обязательно им, всеядным, всеведущим, надо присутствовать на всяких собраниях, чтениях, чувствовать и свою причастность к тому пресловутому, неведомо кем и когда, в муках, никак не иначе, в бессонные ночи, видать, однажды изобретённому, вместо кроссворда или шарады, «литературному процессу», подумать ведь только, процессу, ни больше ни меньше, который на деле является результатом трудной работы одиночек, веками, да что там, эпохами, тысячелетиями, одиночек, и только их, как всегда, но никак не толпы.

Выходит, почти сорок лет присутствовали они там, где что-нибудь из написанного кем-нибудь и когда-нибудь, недавно или давно кто знает, стихи ли, прозу ли, читают и обсуждают.

Пишут вроде и сами.

Но куда важнее для них – числиться, состоять, скопом, при литературе, вроде бы тоже участвовать в неудержимом, таинственном, вечном её движении.

Но это ещё не всё.

Куда больше меня, столь редко, на протяжении многих, с работой над книгами связанной, чередой прошедших лет, выбирающегося куда-то к людям, любящим пообщаться меж собою, потолковать, по старинке, о том, о сём, о немногом и обо всём, изумила молва людская, её глобальные, прямо-таки фантастические возможности.

Уже через день буквально после чтения моего знали о нём все, не только в Москве, но и в Питере, и в провинции знали тоже, и даже в моём родном городе Кривом Роге, на Украине, а чуть позже – и в прочих странах зарубежных, поскольку сведения о моём единственном вечере попали незамедлительно, сразу же, в Интернет.

Мне звонили разные люди – и всех их, ну просто вынь да положь как можно скорее, очень интересовала моя мемуарная проза, и все они в один голос, как будто бы сговорившись, первым делом взволнованно спрашивали: скоро ли, да когда, и где, её издадут?

Вот что такое молва.

Такою же, как сейчас, в дни свободы, а то и похлеще, была она, припоминаю с улыбкой, и в шестидесятых.

Стоило мне появиться где-нибудь, почитать там стихи, как об этом событии сразу же узнавали решительно все.

Отсюда и всё растущая, год от года, известность моя.

Так что, любезный читатель, Величанский, выходит, ошибся.

Не в смогистские времена пришла она, эта известность, но раньше, значительно раньше.

Говорю я теперь об этом совершенно спокойно, без всякой гордости за былые достижения и удачи.

И не такое бывало.

Просто – в зрелых своих годах, по возможности, восстанавливаю историческую справедливость.

Это как раз Величанский был ещё неизвестен, когда мы, той же осенью шестьдесят четвёртого, с ним познакомились и вскорости подружились.

И это именно я охотно знакомил Сашу со своими друзьями тогдашними, с людьми своего круга, то есть, как и всегда у меня, сплошь и рядом, это бывает, из приязни к нему, да ещё и по доброте душевной, способствовал всячески, рьяно, сознательно, целенаправленно, росту его известности, в Москве и не только в ней.

Относится это, кстати, замечу, не только к Саше.

Творчество многих знакомых в самиздатовскую эпоху пропагандировал я настойчиво и упрямо, самолично перепечатывал, на машинке пишущей, в нескольких экземплярах, само собою, и передавал их тексты, стихи, переводы, прозу, своим друзьям, и в столице, и в провинции, разумеется, чтобы и там их узнали.

Известность в Москве в то время была у меня уже прочной.

Я вхож был в литературные дома и салоны различные, в том числе и такие, куда людям с улицы ходу не было.

Со мною стремились – как странно вспоминать о таком – познакомиться.

Искали – сами, без всякого принуждения, – дружбы моей.

Конечно, это приятно. Тем более, в пору, когда тебе всего восемнадцать лет.

Мне прочили, с основаниями серьёзными, полагаю, блестящее, да и только, и никак не иначе, будущее.

Собственно, всё это громкое, с похвалами и заверениями в чём-то радужном впереди, говорение началось ещё до московской жизни богемной, на Украине, поначалу в моём родном городе Кривом Роге, где я вырос и начал писать, вперемешку, стихи и прозу, где писания эти мои ранние были замечены вовремя, вот что существенно, местными литераторами, и вскоре уже одобрены и признаны ими, а также читателями и слушателями нашими, а потом в Днепропетровске, где, на совещании (действе официальном, с размахом, с широкой оглаской, с газетными публикациями в областной периодике, словом, всем, чем щедра советская власть была) молодых литераторов Приднепровья, в начале того же переполненного событиями до предела, до невозможности, каковая была возможной, по судьбе, шестьдесят четвёртого, я произвёл фурор своими стихами тогдашними, да такой, что лишь в сказке бывает, как меня уверяли потом, и на меня приходили целыми толпами всякие участники совещания и люди со стороны, ценители и любители поэзии, просто, как водится, поглазеть, пообщаться, послушать, как я читаю свои опусы стихотворные, а литературные, в силе, при власти и при чинах, генералы и воротилы зазывали меня к себе в Киев, обещая поддержку всяческую, например, конкретную помощь с поступлением предполагаемым, скорым, в университет и

широчайшие прямо-таки в будущем перспективы, только бы я откликнулся на их, воротил чиновных, заманивание усердное, на что я, уже учёный кое-чем и школу прошедший суровую, но полезную, разумеется, не пошёл.

Забавно, что происходило это уже после грозного хрущёвского, с громом и молниями, невиданного разгрома всяческих формалистов, неугодных властям, затронувшего и меня, со злыми, бичующими юные и наивные, но и свежие, непривычные для партийцев, мои писания, статейками в областной и республиканской, то есть родной украинской прессе.

Но этого почему-то вроде бы как и не было.

Столь велико желание было у киевлян – заполучить меня, талантливую, молодого парня, да поскорее, перетащить к себе.

Однако, давно принявший своё решение, личное, независимое, по чутью, как всегда, я уехал в Москву, поступил в МГУ, освоился в столице – и начал жить, сразу же, безоглядно, той жизнью свободной, которой ещё со школьных, с мечтаниями в романтическом духе, лет, я терпеливо, стойко, с надеждой на чудо, ждал.

Жизнь в столице на первых порах меня, человека приезжего, становившегося москвичом постепенно, хоть и в ускоренном темпе, как в музыке жизни случается иногда, не сплошь и рядом, поверьте, лишь изредка, только радовала.

Известность моя, вначале бывшая устной, с голоса, по причине чтений моих частых образовавшаяся, уже, пускай и не сразу, входила в стадию письменную, самиздатовскую, потому что появились в кругах богемных, а потом и среди любителей новейшей литературы списки, энтузиастами сделанные от руки, по горячим следам, как водится, и машинописные копии тогдашних моих стихов.

Это, новое, обстоятельство, эта, новая, ипостась – восприятие текстов моих читательскими глазами – было более важным, нежели привычное чтение вслух и восприятие этих звучащих стихов со слуха, пусть оно и бывало в те дни поразительным, слова точнее не найти сейчас, и не надо мне искать его, – для меня.

Это внутренне встряхивало, собирало, как-то подтягивало, ко многому, благо было на кого равняться, обязывало.

Да, все, как один, говорят, что читал я встарь замечательно.

И сам я прекрасно знаю, что было это – искусство.

Традиционное наше, певческое, орфическое.

Но читать непростые тексты с листа, сознательно быть наедине с конкретным, открывающимся не сразу и сознанию, и сердцу, текстом, – это ещё серьёзнее, это всегда испытание для поэта – как и насколько верно, так ли, как надо, воспримет вещи его, существующие на бумаге, в записи чьей-то, или в машинописи, без всяких официально изданных книг, такого и в мыслях не было ни у кого, на это и не надеялись, об этом и не мечтали, ни пишущий, ни читающий, нам все издания, оптом, вполне заменял самиздат, – не слушатель, а читатель.

Остаюсь при своём, незыблемом, ни на йоту не изменившемся, по прошествии времени, мнении, скиф-отшельник, я и сейчас.

Хотя, скажу напрямик, некоторые из тех, уцелевших, чудом, возможно, выживших, прежних друзей и приятелей лет, ушедших навсегда, могикане богемы, хорошо, до подробностей, помнящие, как я раньше читал, то и дело выражают желание общее, при нынешней-то развитой технике, сделать студийные записи чтения моего.

Желание это действительно ведь не просто так, не от печки, не с бухты-барухты высказано.

Это, если подумать, важно.

Не будет меня на свете – уйдёт со мной и моё искусство – личное, кровное, вне канон, – искусство чтения.

А так, вполне вероятно, при наличии видеозаписей, глядишь и включит какой-нибудь грядущий любитель поэзии видеомангофон, поставит кассету нужную, поудобнее расположится – да и станет, в домашних условиях, не выбираясь из дому ни на какие там вечера поэзии, где-нибудь идущие, и ни в какие литературные клубы, с комфортом, в тепле, в уюте, чтение слушать моё, а заодно и смотреть на меня – что за птица такая, залетевшая изда- лека прямо в завтра, к счастливым потомкам, что за зверь такой, из берлоги, не иначе, из ямы какой-то, из разверстой дымящейся бездны, из двадцатого странного века, где искать с фонарём человека днём занятие рядовое, для поэтов даже привычное, а сказать поточнее, типичное, коли ты существо не тепличное и рискуешь при том головою, что за тип такой перед ним, кем и чем был он в жизни храним, как успел написать столь много, что за дар у него от Бога, – или, может, в компьютер диск, на котором записей прорва, вставит как-нибудь под настроение кто-нибудь – и глядит на экран, где, сквозь давних времён туман, сквозь белёсые наслоения, сквозь пространство, прёдолённое так легко, что везде мне дом, находясь в измеренье другом, я читаю стихи, – дело техники, современной и своевременной, зафиксировать чтение это, ну а техники песня не спета, и пределов ей, видимо, нет, – вот и голос мой выйдет на свет, голос прежний, чтение, звук, – ночь со снегом и век со СМОГом, жизнь, скитания по дорогам, ключ и клич, магический круг, за которым – начало встреч, имя времени, путь и речь...

Годы идут, впрочем, а желание энтузиастов, по инерции существуя в их мечтах, в голо- вах их седых, доселе, само собою, остаётся неосуществлённым, потому что никак не най- дутся деловые ребята, толковые, современные, с аппаратурой соответствующей, которые пришли бы ко мне однажды да и сделали видеозаписи.

Странное, нет, не странное, закономерное, видимо, незаметно, исподволь как-то выра- боталось, оформилось и спокойненько прижилось посреди междувременья нашего отноше- ние так называемой общественности, категории весьма условной, ко мне – мол, существует Алейников где-то осторонь от всего и от всех, очень много работает, всё в трудах своих пра- ведных, вечных, ежедневных и ежечасных, год за годом, десятилетиями, стал затворником, говорят, он и раньше был таковым, утверждают люди бывалые, а теперь-то совсем затво- рился у себя в Коктебеле, у моря, в киммерийском доме своём, никуда не ходит, не видит никого, только пишет и пишет, значит, жив ещё, ну и ладно.

Я, может быть, и ворчу, далеко не всегда, иногда, если что-нибудь или кто-нибудь, как теперь говорят, меня даже здесь, в укроме спасительном, в коктебельской глуши, достанет, на моих современников, что ж, это моё право.

И я ещё жив, представьте, это действительно так.

И, с Божьей помощью, я постараюсь пожить ещё, подольше, насколько возможно, чтобы сделать больше, поскольку велик мой потенциал, как говорят, со значением, литера- турные критики, чтобы хотя бы часть своих, неизменно требующих работы и вновь работы, Водолеевских, то есть фирменных, максималистских замыслов, осуществить, воплотить в слове, как выражаются участники постоянные неведомо кем придуманного, неведомо где идущего зачем-то «литературного процесса», может быть – шествия, может – и карнавала, по Бахтину, возможно, а может быть – и процессии, но какой? – погребальной? праздни- чной? – нет ответа – и тройка мчится, неизвестно – куда, и Русь тоже движется – но куда? – в завтра, что ли? – неужто вправду в светозарное наше завтра, нам обещанное давно? – или, может быть, всё равно, всё едино в мире подлунном, и ударит опять по струнам некто с краю, раз, ещё раз, ещё много, много, не раз, этих самых гитарных раз, напоказ или прозапас, то с похмелья, то с пьяных глаз, – и в процессе, любом, культурном, даже в этом, «литератур- ном», что-то, видимо, всё же есть, честь и совесть, благая весть, лесь ли, месь ли, напасть и власть, за которой, напившись властью чьей-то крови, встаёт кошмар, мор, угар, мировой пожар, – смотрит Гоголь на этот бред из имперских далёких лет, говорит иногда со мной в

тишине затвора сквозной, по привычке, о том о сём, о немногом и обо всём, а потом помолчим вдвоём, каждый с думою о своём, попросаемся – и опять надо мне о былом писать, – вот и весь, для меня, процесс, и, поймите вы, не исчез никуда я, тружусь всегда – и светла надо мной звезда.

Но я говорю сейчас о важном, во всяком случае, для себя, старика, – о внимании.

Ведь было – искусство чтения.

Наиболее развитое – у меня и у Лёни Губанова.

Губанов ушёл – и его искусство с ним тоже ушло.

Кто его хоть разок услышит – и теперь, и когда-то потом?

Вот, например, концерты Вертинского не записаны, пусть это и другая область. Утрата огромная. Теперь мы слушаем – просто голос, пусть и чарующий. Могли бы – ещё и видеть, могли бы, с помощью записи, – присутствовать, при желании, на этих давних концертах.

Своевременное внимание – так ли много его у нас, в нашей, вроде бы не равнодушной к людям, полной загадок стране?

В шестидесятых внимание – было, ещё и какое! Представьте, тою же осенью шестьдесят четвёртого, я, человек молодой, стихи свои читал даже в Доме Союзов.

И туда меня затащили.

Голову мне внимание это, равно как и вдруг появившаяся, как в сказке, молодая моя известность, вовсе, насколько помнится, ни капельки не кружили.

Как всегда, никаких личных выгод для себя из такого форта и не думал я извлекать.

Общение! – вот что было негласным всеобщим лозунгом добронравного этого времени.

Девизом? Ну, пусть и так.

Общение! Все – хорошие! Все решительно – интересные!

Вон сколько людей способных и талантливых даже вокруг!

Братцы, это же впрямь новый, наиновейший, удивительный Ренессанс! Не какой-то чужой – наш, отечественный!

Какие там стукачи, лубяньские штучки, доносы, наблюдение, выявление неугодных кремлёвским властям подозрительных всяких личностей, о чём временами, с оглядкой, полупшёпотом говорят!

Наплевать нам на всё это, вот что!

Чего и кого бояться?

Надо всем повсюду общаться. Обо всём говорить в открытую. Почаще на людях быть. Жить – интересно, со вкусом, этак по-русски, с размахом. Жить, а не существовать.

Перемены – о, разумеется, к лучшему, только к лучшему, – грядут, назревают, мерцают в грядущем, это уж точно, перемены – и в жизни страны, и в жизни любого из нас.

Всё к лучшему, правда? Не так ли?

Не сомневайтесь, вскорости будет ещё лучше.

Оптимистичность – она, знаете ли, хороша.

Все молоды. Все поголовно полны богатырских сил.

Общение! Жаждем общения!..

Вот каковы были общие настроения.

В том числе и мои собственные.

Во всяком случае – осенью шестьдесят четвёртого года.

Вскоре – всё изменилось.

Вскоре – пришлось нахлебаться мне такого, что было уже не до наивной, с бурей и натиском, оптимистичности.

Но это было – потом.

Нет, причин для того, чтобы, вздрогнув от предчувствия бед неминуемых в поле зрения, вмиг настораживаться, быть в седле, бить тревогу заранее, собираться в комок, защищаться от напастей – пока что не было.

Длилась осень. Сентябрь был огромен и светел.
Мир, открытый для песен, сияньем вставал предо мной.
Какие дали, какие пространства мне открывались!
Измеренья иные. Области, с новизной своей, для души.
Планеты. Символы. Знаки.
Созвездья. Галактики целые.
Звёздный путь с земными дорогами.
Путь духовный. Всегдашний свет.

Что читал я? Какие книги тогда меня окружали?

Пушкин, девяти томник, – и Хлебников, пяти томник, том неизданного, том избранного, томик в малой, компактной серии «Библиотеки поэта».

Гоголь, конечно, – любимейший шеститомник, в котором весь он не умещался, таинственнейший, пленительнейший поэт, в одиночестве, в творчестве, в жречестве, в провидчестве давнем своём, осторонь от суеты, в затворничестве, отдельно от всех, лишь сам по себе, везде и всегда, судьба такая, планида, с миром своим, сотворённым, личным, вечным, наедине, людям русским радетель, речи создатель, света хранитель, ведический гений, пророк.

Лермонтов, четырёх томный, – и восьмитомник, синий, как плащ в стихах его: Блок.

Тютчев и Боратынский. Двоица: гений, ум.

Шевченко, его «Кобзарь», – и Тычина, ранняя лирика.

Фет и Некрасов. Грусть. Радость. За ними – Русь.

Батюшков и Державин. Музыка и судьба.

Карамзин и Крылов. Слова безупречные. Труд. Молва.

Жуковский, божественно светлый, и Алексей Константинович Толстой, воитель степной.

Волошин: его «Лики творчества», редкостное издание, самиздатовские поэмы и многие стихотворения, – и, сквозь ритмы взлёт и смыслы круговертью, Андрей Белый: «Петербург», «Серебряный голубь», стихи, статьи, мемуары.

Бунин, скуп, с оглядкой, с опаской, как бы чего не вышло, издаваемый всё же тогда, потому что не издавать уже было нельзя, и вскоре появится девяти томник, – и Куприн, вполне подходящий для советских частых изданий, пусть не весь, но и этого хватит, пока что, ведь он – читаемый широко, и порой замечательный.

Толстой, светоносной глыбой звучащей – «Война и мир», и рассказы его, и особенно – «Казачьи», «Хаджи-Мурат», – и Достоевский, издавна раздражавший, но и притягивавший: «Бесы», труднодоступные «Дневники писателя», давнее, в мягкой обложке, издание.

Паустовский, на редкость чистый человек, педагог великий, весь решительно принимаемый и отстаиваемый всегда, и особенно «Повесть о жизни», – и Грин, человек особенный для меня, никакой не романтик, а несомненный мистик, знак на дороге вдаль.

Цветаева, самиздатовская, прошлой осенью переписанная от руки: большие поэмы, стихотворения, драмы, – а теперь уж и перепечатанная на машинке, догуттенберговская, как сказано было, её великолепная проза.

Самиздатовская Ахматова: «Реквием», поздние вещи разрозненные, «Поэма без героя», кусочки прозы; изданные в советское время книги стихов, издания прежние, с их эстетикой, вкусом, стилем.

Самиздатовские: Гумилёв, «Огненный столп» и другие, чередою, книги его; Заболоцкий, «Столбцы», поэмы, великая поздняя лирика; Мандельштам, пятитомник стихов, потом – «Разговор о Данте»; Ходасевич, и прежде всего «Европейская ночь»; Северянин, восхитительный соловей; Клюев, скит, на крови, в глуши; Нарбут, ветер, полынь и воля.

Федерико Гарсиа Лорка. Страсть и тайна, боль и луна.

Пруст, «В сторону Свана», первый перевод, ещё довоенный.

Дос Пассос, парадоксальный коллаж, в переводе Стенича.

Ницше, «Так говорил Заратустра», вышедший до революции солидный том в золотой плотной суперобложке.

Андрей Платонов, страдалец, великий русский писатель, самый первый изданный томик прозы, сразу, надолго, ставшей откровением для меня.

«Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица. Хлебников и Бурлюк. Заря футуризма. Цвет богемы. Пристальный взгляд.

«Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Всеми нами многожды читанные мемуары. Окошко в мир заграничный. Париж. Писатели и художники. Судьбы сложные. Смелый шаг, по тем временам.

Пастернак, стихи: самиздатовские (всем известные ныне) – из «Доктора Живаго», его «Вакханалия» фантазмагоричная, «Нобелевская премия», остальные – в изданных ранее книгах; проза его – «Охранная грамота», «Детство Люверс», прочие повести, некоторые, выборочно, статьи, самиздатовские – «Живаго», «Люди и положения».

Тынянов, трёхтомник, зелёный. Проза. Очень хорошая.

Булгаков, «Жизнь господина де Мольера», в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей». Но ещё и ранние книги его, в двадцатых годах выходившие. Далее – самиздатовская жемчужина, затрёпанная машинопись – нарасхват ведь – «Собачье сердце». Ну а «Мастер и Маргарита», из журнала «Москва», урезанный, с дополнениями самиздатовскими (все фрагменты, цензурой снятые) – это будет чуть позже, потом.

Олеша, том его «Избранных сочинений», изданных, помнится, в пятьдесят шестом году, и вот-вот уже выйдет книга «Ни дня без строчки», – и Катаев, писатель блистательный, с детства мною любимый, но, выяснилось вскоре, силу всё набирающий, чтобы долго всех изумлять новой прозой своей, небывалой, ещё до «Святого колодца».

Настоящий писатель, Юрий Казаков, человек, в природе свой, лесной, заречный, заоблачный, друг сердечный листьев и трав.

Самиздатовская, чудеса в колесе, да и только, «Автобиография» Евтушенко, сочинение малоприятное.

Вознесенский и Ахмадулина, Аксёнов, с ним и Гладилин – были-то были, но вскоре отодвинулись далеко, потому что уже выработывался в те года новый угол зрения на всё, что издавали модные шестидесятники.

Двухтомник Хемингуэя, зарубежная, из основных, проза, взхлёб читаемая, нашей молодости далёкой.

Шервуд Андерсон, изумительный писатель. Из настоящих. Однотомник его, единственный, берегу, любя, до сих пор.

Мифы. Древняя Греция. Рим. Отголоски ведических преданий русских. Герои. Боги. Виденья, порою.

Гомер. «Илиада». Русский перевод. «Одиссея». С голоса. В саду моём. Или у моря. Ветер, треплющий волосы.

Античная лирика. Некие осколки. Фрагменты целого. Мир, никуда не ушедший. Отзвуки слова смелого.

Русские сказки. Чудо. Кладезь премудрости. Право на первородство. Всюду – правда. Вечная слава.

Рембо, поначалу маленькая книжка, самая первая. Но и этого было достаточно, чтобы всё мгновенно понять. Потом – начинались поиски других изданий. Открытия продолжались. Тексты – события. Прочитать, впитать и принять.

Футуристы. Что попадётся. Что найдётся – чисто случайно. Вдруг отыщется. Позабавит. Озадачит. Потом – удивит.

Символисты. С ними сложнее – но и проще: слово скуднее. Несмотря на трудности смысла. Вроде алгебры: знаки, числа.

Анненский – начинался не сразу: его присутствие в мире осознавалось постепенно. Дивный поэт пришёл ко мне чуть позднее, вместе с Музой своею, с мукой своей и с музыкой, равной которой – нет.

Груда целая самиздата: пародия на роман Кочетова, писателя советского, сверхкондового, «Чего же ты хочешь?», названная, в лоб слегка, с юморком, «Чего же ты хохочешь?» – не помню, кем сочинённая, – было такое произведение встарь, по рукам, забавляя нас, ходило в шестидесятых; Введенский, Хармс и Олейников – обэриуты – мир гротеска и парадоксов; ранние тексты Бродского, в основном образцы его поисков себя самого, своего стиля, строя и смысла, где попадались изредка полноценные, крепкие вещи; стихи московских поэтов, то есть Холина и Сапгира, Горбаневской и Красовицкого, ну и прочих, вразброс, и так далее.

Много читал я тогда.

Всего ведь не перечислишь.

Книги – рядом всё время были.

Книги – сами ко мне приходили.

Когда, внезапно, как правило, если есть хоть какие-нибудь, в таких состояниях, правила, ощущал я, всей кожей, хребтом, некий зов, знакомый до боли, неизменно всесильный и властный, то всё моментально бросал – и устремлялся в пространство.

Пригородные, грохочущие всем нутром своим, электрички уносили меня всё дальше от столицы, всё глубже в осень.

Я выходил, бывало, на незнакомом перроне, шёл наугад куда-то, лишь бы идти вперёд.

Леса вокруг раздвигались в обе стороны, передо мною, словно в живописи старинной, незаметно и постепенно, как во сне, так могло показаться, но, конечно же, наяву, раскрывалась весьма загадочная, с ускользящими от взгляда, словно в прятки со мной играющими, чтобы вновь укрупниться, выявиться так отчётливо и спокойно, что невольно я диву давался, очертаниями окрестных, передвижнических пейзажей, вся лучающаяся, бликующая, в жёлтых листьях, пятнах, мазках чьей-то кисти нетерпеливой, но чудесной, преображающей всю округу, похорошевшую от волшебного преображения, бесконечная перспектива.

Свет с небес преломлялся, как в линзе, в тёмной, сонной воде прудов.

На буграх, высоко над прудами, над водой, отражающей их белизну и ампирную стройность, одиноко стояли усадьбы.

На их фасадах, морщинистых, словно старческие, из прошлого дворянского, показавшиеся, чтоб остаться здесь навсегда, породистые, выразительные, по-своему добрые лица, колонны, прямые, строгие, неуклонно тянулись вверх, как старые, но, меж тем, всё ещё очень крепкие древесные, с твёрдой корою в рубцах и шрамах, стволы, и поблёскивали, поигрывали весёлые зайчики солнечные в зеркальной, почти астральной, лаковой темноте раздробленных перемычками деревянными на ячейки, соты напоминающие, пыльных оконных стёкол.

Чирикали вездесущие, любопытные воробьи, картаво, по-тарабарски, покрикивали вороны.

От крыльца со ступенями, брошенными, наподобие веера, вкось, разбежались, ну прямо как в запуски детвора, прямые дорожки, уходили в запущенный парк или дальше, в заглох-

ший лес. Там просматривались деревни – деревянные серые избы, иногда уже покосившиеся, будто сложенные в гармошку, иногда, пореже, целёхонькие, с резными, по русской традиции, наличниками и ставнями.

Там пели взахлёб, неистово, часовыми в глуши, сторожами всех времён и семейств, человеческих или птичьих, не всё ли едино здесь, на скудной земле, петухи, глуховато, как будто спросонок, полаивали собаки, воспалённо и дробно алела во дворах захудалых рябина.

Там шла не совсем ещё понятная мне, потайная, укромная, сирая, скромная, скромнее некуда, жизнь, закрытая от всего ненужного, постороннего, полностью отделённая от жизни чужой, городской, и, тем более, жизни столичной, там шла стародавняя жизнь, домостроевская, возможно, со своими строгими правилами, разительно непохожая на жизнь в приветливых, светлых, больших украинских сёлах, давно, хорошо мне знакомую.

Это была Россия, и я каждый раз ловил себя на том, что лишь по своей воле, по своему желанию, нахожусь нынче в совсем иной стране, чем та, что оставил я в Диком Поле, на юге, в Скифии, в запорожских землях исконных, моя, родная, степная.

Что-то замшелое, тусклое, закосневшее в дряхлости, ветхости, угро-финское, колдовское, вдруг бросалось в глаза, а потом почему-то сразу же пряталось неизвестно куда и зачем, не желая совсем выпячиваться, вот и всё, на передний план.

Церкви, порою заброшенные, с поросшими сорной травой и даже как-то прижившимися высоко над землёй деревьями, ободранными куполами, стояли в отъединении от повседневности, в полном одиночестве, где-нибудь поодаль, и если были на них кресты, то, увы, покосившиеся, кривые, но чаще их не было вовсе, и отсутствие их очевидное ощущалось особенно остро – точно самое главное в песне в приказном устранили порядке, никого об этом не спрашивая и ответственности не страшась, точно вычеркнули из списка нечто необычайно важное, или нужный предмет убрали, или вырвали прямо с корнем плодоносящее дерево и куда-то его увезли, и осталась одна пустота, в которой мистическим образом угадывалось присутствие креста, и, при скромном даже воображении, он высветлялся сквозь синеву, появлялся на миг и опять растворялся в сентябрьском небе, где уже сменялась дневная синева предвечерней дымкой, наплывали вновь облака, появлялся прохладный ветер, пускался гулять по окрестностям, и слетали с ветвей дрожащих огоньками жёлтыми листья, и откуда-то издали, что ли, да, конечно, издали, впрямь из-за резко прочерченной грани горизонта, из необъятного, беспредельного Зазеркалья, из-за глинистых, бурых отколов, из древесной коричневой гущи, доносился крик электрички, и пора мне было, пора возвращаться в Москву, обратно.

И я выбирался к пустому перрону, и вот уже мчался в несущемся сквозь убегающие в обе стороны, влево и вправо, наугад, без оглядки, деревья, признающем лишь скорость, ею козыряющем в спорах, вечных и бессмысленных, с расстоянием, и её же не забывающем никогда прибереечь на потом, целенаправленно мчащемся туда, куда полагается по расписанию, поезде, и за окошком вагонным начинало уже смеркаться, дверцы с визгом резким распахивались и с отчаянным треском захлопывались на всех остановках, состав срывался мгновенно с места и сразу же, без заминки, устремлялся вперёд, пассажиры усаживались поудобнее на жёстких сиденьях, за окнами темнело, внутри вагона зажигали мигающий свет, и в стекле отражались все мы, – и вот уже скоро Москва, подъезжаем, ну вот и приехали, – я выходил на вокзале, спускался в метро, добирался домой, постепенно, не сразу возвращаясь уже в другую, совершенно другую жизнь, столичную, благоустроенную, устойчивую, надёжную, преспокойно, легко сносящую все порывы мои в путешествия, относящуюся ко мне, как, пожалуй, к весьма романтически настроенному фантазёру, принимающую меня, со вздохом, конечно, и даже, порой, с невольным укором, уж такого, каков я есть, поскольку вряд ли кому-то удастся меня исправить, но, впрочем, я сам по себе, а она сама по себе, вот на этом-то и поладим, – и я в своей комнате медленно привыкал к вечерам столичным,

чаёвничал, музыку слушал, читал, а то – в коридоре звонил телефон, меня подзывали старушки-соседки, я подходил, брал трубку, разговаривал, – что ж, опять звали в гости, – да-да, приеду, – собирался, накидывал плащ, выходил, уезжал, приезжал, добирался до нужного места, – встречали: приехал! мы рады, привет, поскорее входи! – вечер длился, уже – в общении, в ритуальном тогдашнем чтении, в разговорах беспечных дружеских за вином, превращаясь в ночь, – все спохватывались: успеть бы на метро! – собирались, прощались, расставались – буквально до завтра, – я спешил к метро, забегал, запыхавшись, вовнутрь, – и ехал, приходя в себя постепенно по дороге, до Автозаводской, – выбирался на улицу, мигом добирался домой, – ну вот, наконец-то я здесь, теперь – отдыхать. Но не тут-то было!

Ночь томила меня, манила всем заветным, что сердцу мило, что возвысил я и воспел.

Ночь вставала в окне, дышала всем, что в прошлом уже осталось, всем, что я пережить успел.

Я не спал. Ночь была смурною. Ветер вздрагивал за стеною – и, к стеклу прикипев, молчал.

Осень прежней цвела весною. Образ времени предо мною оживал – и уже звучал.

Мне хотелось бы выразить ныне свет в апреле и звук в апреле, свет – спасительный, звук – начальный, тот, с чего всё и началось.

Томящийся в смутном предчувствии чего-то совсем небывалого, долгожданного, свежего, нового, кровно важного для меня, вдруг увидел я свет целительный и услышал я звук спасительный, в первых числах апреля, на родине, посреди блаженного дня.

Свет был ясным и золотым.

Звук был чистым и долговечным.

Ко мне вдруг пришли стихи.

Сами. Я стал их записывать.

Это было – моё. Я знал.

С той поры и пишу их. Поныне.

Вновь тревожит меня родное,
слух и взгляд, словно встарь, открыв.

Свет со мною и звук со мною.

Навсегда. Покуда я жив.

Свет – спасает, звук – пробуждает.

Свет – ведёт сквозь темь, звук – речь рождает.

Сон ли? Явь ли? Так и живу.

Всё тружусь. А куда деваться?

Нам никак нельзя расставаться.

Свет – увижу. Звук – призову.

Свет – придёт. Звук – раздастся снова.

Шевельнётся первое слово.

Прорастут другие за ним.

В нашей речи – вселенской ткани —

мы извечно стоим на грани

тьмы осенней и вешней рани,

где горенье в душе храним.

Надо сказать, что в ту пору, в шестьдесят четвёртом, в апреле, писал я стихи запоем.

Пришло наконец – моё.

Новое. Настоящее.

Понимал я: надо работать.

Продолжалось это и в мае, и окрепло тогда, настолько, что чувствовал я за плечами лёгкий шелест расправленных крыльев, когда, молодой, вдохновенный, ощущавший себя поэтом настоящим, жил я в Крыму, а потом, одинокий романтик, наслаждаясь полной свободой, изумляясь всему на свете, путешествовал, налегке, без излишних вещей, по крымским городам и посёлкам приморским, – и несколько позже, летом, когда у себя на родине твёрдо знал я, что всё, о чём в предыдущие годы мечтал я, всё, во что я столь искренне верил, всё к чему я стремился упрямо, выживая по-своему в скифской, грустноватой, степной провинции, всё моё – непременно сбудется, что вскоре стану я жить не где-нибудь, а в Москве, – и осенью, той, московской, о которой вам я рассказываю в этой книге, вразброс, урывками, в самых разных её частях, продолжалось, да и зимой, и весной, во времена смогистские, с бурей и натиском, по Гёте, или по Шиллеру, неважно, скорее по-нашему, по-русски, непредсказуемо, так, что поди гадай, чем это всё завершится, и завершится ли полностью когда-нибудь, и не станет ли бесконечностью, вечным движением ввысь и вглубь, неожиданным кружением по столице, новым сражением, только с кем, и зачем, и когда, – и особенно сильно выплеснулось летом в раю, иль в аду, как Рембо когда-то сказал, и осенью шестьдесят пятого, судьбоносной, без иронии перестроечной, в самом деле необычайной, той, с которой милее свет стал негаданно, боль исчезла, и любовь наконец воскресла среди огнём опалённых лет, – и всё это стало книгами, с запозданием страшным изданными, в девяностых уже, и книги сами к людям пришли, точно так же, как намного раньше они приходили к людям в бесчисленных самиздатовских перепечатках, – и теперь я смотрю на книги, листаю порой страницы с такими знакомыми текстами, и вижу – истоки, апрель.

Конечно, как и у всякой истории есть предыстория, так и у этих истоков есть свои пред-истоки, так я выражусь нынче, надеясь, что меня хоть однажды поймут, и это – мои времена криворожские, времена всех тогдашних стихов, начиная с осени шестьдесят первого, и шестьдесят второй, весь, работа сплошная, и весь шестьдесят третий – годы поисков, ученичества, обретения речи своей, но об этом лучше – потом.

Теперь мне куда важнее мой апрель, – и я вижу себя в нём, в самом начале месяца, и сам себе удивляюсь, и вере тогдашней своей в грядущее, и отваге молодой, и надежде твёрдой на самое лучшее в мире, и солнцу над головою, и звёздам, и радости творчества, и грёзам своим, и яви, и снам, и, конечно, любви.

Когда бы не свет и звук...

Пришли ко мне они вовремя!

И я ощутил разъятость времени, для которого нет невозможного в мире, и протяжённость пространства.

И стал – навсегда, полагаю, – отныне самим собою.

Весна разрасталась не только в природе, не только в творчестве, но и в душе моей.

Пела каждая клеточка всего моего существа.

Наш дом переполнен был музыкой, которую слышал я, как никто другой, днём и ночью, и записывал постоянно.

Я ходил на работу, в школу, где числился воспитателем группы продлённого дня. Ребяшки меня любили. Я с ними вроде бы ладил. Находил с ними общий язык. Был с ними не воспитателем, но попросту старшим другом. Выросшие, годами они потом вспоминали меня. Наверное, было за что. Хорошо, что – так.

Но жил я – в собственном, стройном, непохожим на прочие, мире.

И мир этот с миром природы и миром творчества связан был так прочно, что вряд ли бывает прочнее незримая связь. Направляясь ли на работу, возвращаясь ли поздно с неё, бродил я по берегам наших рек, неспешных, седых, в парках, где жгли костры, сжигая в них прошлогодний мусор, прелые листья, срезанные садовниками ветки, и к ясному небу под-

нимался пахучий дым, и подрастала свежая трава, и птицы окрестные пели многоголосым, неслыханно слаженным хором, а воробьи, которых в ту пору было так много в нашем городе, дружно чирикали, собираясь везде такими невероятными скопищами, что были слышны ото всюду, где бы ты ни находился, и вода в Саксагани к вечеру становилась ленисто-томной, а в Ингульце становилась вода напряжённно-тягучей, и Саксагань сливалась с Ингульцом, и вот уж один он, расширившийся, возможно, и не такой могучий, каким был он в древности, судя по сохранившимся сведениям, когда назывался он в Скифии Пантикапесом, а когда-то, совсем давно, во времена ведические – Хингули, но ещё крепкий, понимающий: силы при нём, устремлялся к югу, спиралями, витками, узлами, изгибами, поворотами, разворотами, всё дальше, дальше и дальше, по холмистым нашим степям, становящимся постепенно ровнее, приземистей, шире, к Днепру, чтобы вместе с ним выйти, вырваться к морю.

Я и сам вышел, вырвался к морю тогда, в конце моего памятного апреля.

Потому что – нужно было море.

Я взял да уехал в Крым.

Там, в раю субтропическом, в мае, стал я уже окончательно, повзрослев, ощущая путь, к сути звавший, самим собою.

Любовь? Да, была и любовь.

И весь южный берег, праздничный, пряный, хмельной, чарующий, накрепко врезался в память, с терпкими, сочными запахами каменистой прогретой почвы и диковинных, буйных растений, и волны морские пенились под луной, и звёзд было много, не счесть, и небо темнело, сгущаясь до черноты, до смоляной зеркальности, и тускло белели стены узорных дворцов и ограды, по шоссе проезжали автобусы, и резкий, дорожный запах отработанного горючего тут же, на месте, смешивался с тонкими, благородными, вкрадчивыми ароматами ковровых трав и цветов, а море плескалось внизу, солёное, бесконечное, медленно прогревающееся, и шли по нему корабли, а наверху, на склонах горных, уступами, ярусами гнездились дома, сады завершались роскошными парками, парки тянулись в горы, и там, совсем высоко, плескалось, переливаясь лучами прозрачными, небо, и шли по нему облака, и дымка, повиснув над морем, сгущалась в хмарь, тяжелела, темнела, и шли дожди, и я выходил побродить под дождём, в своём синем плаще, и шёл неизвестно куда, по наитию, но всегда получалось так, что туда, куда мне и надо было, и я приходил, а дождь всё лил, и я возвращался, и ждала меня там любовь, и дождь, помедлив немного, переставал шуметь по листьям, светило солнце, и сердце вновь оживало, и всё это было тем, чего я столь долго ждал и чего наконец дождался, и теперь, пожалуй, пора идти мне дальше куда-то, – сон ли? явь ли? – не всё ли равно вам? – с явью сон, сновидение с явью, – всё возможно и всё допустимо, – сон, пожалуй, а всё же – явь.

И я уехал. Ветер путешествий меня окликнул. Я увидел Крым в цвету, на грани мая и июня. Весь южный берег, от Алушты и Гурзуфа до Симеиза, был распахнут мне. Бывало, в Ялте, вечером, в пору, я корабли, печальюсь, провожал. И Севастополь вдруг меня встречал, с прекрасными своими кораблями. Мелодией восточной прозвучал Бахчисарай. Был Симферополь жарок и странно бел, сплошные перекрёстки, ракушечные лёгкие дома, беспечные балконы. Старый Крым, с его тогдашней сонной тишиной, с развалинами караван-сарая, средневековой сказкою мечети Узбека, сквозь окрестную листву, и с домом Грина, и с его могилой, и с грецкими орехами впотьмах, и с тополями в утреннем тумане, сменился Феодосией, чудесной в своей дремотной памяти о прошлом. Потом был Коктебель. И понял я, что здесь когда-нибудь я буду жить. И я вернулся в скифские края, на родину. А летом вновь уехал, уже в Москву. И стал в ней обитать.

Но там, на радость мне, стоял сентябрь, и я срывался с места, уезжал, то во Владимир, то на Нерль, то в Суздаль, то в Подмоскowie, и потом, усталый и полный впечатлений,

возвращался в столицу милую, к семи её холмам, и небесам, и рекам, и домам, с которыми надолго не прощался.

И такая вот круговерть путешествий, перемещений в пространстве, да и во времени, а вернее всего – сквозь время, сквозь пространство, к речи моей, к этой музыке или муке, к этой радости в каждом звуке, в каждом слове и в каждом шаге к новой грани, к сплошной отваге, увлекала меня, притягивала, вовлекала меня в движение, постоянное, необходимое.

Да и Москва сама, со всеми (ноты в гамме?) своими древними, широкими кругами, не то магическими, с брусковской подачи, не то лирическими с виду, не иначе, не то эпическими, что ли, со своими, от центра самого, от старого Кремля, от сердца города, развёрнутыми туго спиралями, прорывами из круга, была, возможно, зримым воплощением, наглядным образом той жизни импульсивной, той молодости, всё-таки моей, не чьей-нибудь, а именно моей, с которой невозможно мне расстаться и днесь, в мои-то зрелые лета, настолько много значила она в судьбе моей. Итак, стоял сентябрь.

И на таком-то небывалом фоне сплошных открытий, частых путешествий, взаимопревращений, откровений, надежд, восторгов, – и произошла, поскольку быть иначе не могло, незабываемая наша встреча с Губановым, в далёком сентябре, в прекрасном времени сиянье, состоялось знакомство наше, знаковое, впрямь, которому, знать, было суждено стать дружбой, непохожей на другие, из коей, в свою очередь, свободно, естественно, легко, и произрос, всё изменив повсюду вскоре, СМОГ.

Дружить с Губановым, Лёничкой, как его называли все в богемной среде, Губанычем, как его называли приятели, гением современности, как сам он себя величал, поверьте мне, было непросто.

Прежде всего, потому, что в быту, в непрерывном общении, в повседневности, в той ощущаемой всеми оптом людьми на свете, год за годом и час за часом, поминутно, ежемгновенно, и в результате собственного, незаёмного, личного опыта постигаемой, как уж вышло, как уж выпала карта, действительности, то есть зримой, конкретной реальности, был он, поэт и буйан, человеком весьма избалованным, постоянно, без всякого повода, в основном, или если и был этот повод, нередко придуманный, нарочитый, липовый, мнимый, да ещё и с врождённым упрямством, выпадающим, вылетающим в никуда из этой реальности, больше того, зачастую, из принципа, не желающим, ни за что, никогда, с ней считаться, и уж тем более – знать, и, что было всегда для него непреложным, железным правилом, примиряться когда-нибудь с нею, – нет, это не для него, он категорически против, ни за какие коврижки не станет вести он себя как все вокруг, соблюдать какие-то, ишь ты, поди ж ты, приличия, что за дела такие, что за вторжение, галошами чьими-то в душу возвышенную, стараться особо не выделяться, проявлять, по возможности, выдержку, тактичность, умение ждать, научиться терпеть, а порой и смиряться, пускай через силу, с обстоятельствами, во имя выживания главного, творческого, – нет, не для того он рождён, вовсе не для того явился он в мир, чтобы ладить с действительностью, – он особенный, он это знает, ему некогда ждать, ему надо, кровь из носу, всё на свете успеть перепробовать, всё увидеть и всё почувствовать, испытать на собственной шкуре, – он как раз в разладе с действительностью, в размолвке со всем, что мешает ему на его торопливом пути, он в ссоре с медлительностью, он человек порывов, да к тому же, кстати, ещё он человек из другой реальности, не имеющей отношения к этой, нынешней, общей, земной, он залётный гость, он звезда, и ведёт его в жизни – дар, и пора его творчества – в будущем, а пока что, покуда жив он, ему важно то записать, что диктуется свыше ему, ну а всё остальное не в счёт, раз оставлен он на потом, для России и для поэзии, и поэтому, словно в жару, а нередко и словно в бреду, существует

он здесь, это временно, всё он знает давно про себя, – сколько лет проживёт он? – известно: тридцать семь, как положено гению, – в том, что гений он, нет сомнений, в том, что избран он от рожденья, что отмечен, он убеждён, потому-то ему не до шуток только в творчестве, только в нём он хозяин себе, господин, властелин, и туда не допустит никого, посторонним вход воспрещён, и не думайте даже, что удастся проникнуть туда, в этом царстве он страж и ратник, никому туда нету ходу, там хранит он свою свободу, там поэзия, там его явь, – а реальность мирская, людская для того существует, чтобы, ненароком в неё ворвавшись, порезвиться, покуролесить, замутив стоячую воду, вверх тормашками перевернуть все приметы её и знаки, все понятия и детали, раскрутить колесом роенье всех знакомых вокруг себя, оказаться в центре внимания, стать для многих незаменимым, вызывать восхищение, в трепет повергать, вызывать любовь, быть в движении, в сплошном кружении, знать, что это самосожжение, но идти на это сознательно, – ключья нервов, шальная кровь.

Губанов был, это важно понимать, моим антиподом.

Но сразу же, благодаря феноменальному, гибкому, с практической жилкой, кстати, в сочетании с удивительной способностью угадать, прямо в корень, самое нужное, для себя, в любой ситуации, будь он трезв или пьян, всё равно, с метаморфозами всякими, ответвлениями потайными, зигзагами и ходами конём, чутью своему, понял он, отчётливо понял, что мы с ним, по крайней мере некоторое, недолгое или длительное, поглядим, как сложится всё, прикинем потом, если будет надобность шурупать мозгами, время, должны быть рядом друг с другом, держаться, сдружившись, вместе, быть если и не какими-то там общающимися сосудами, это вряд ли получится, то, во всяком случае, в нашем, вернее в губановском случае, двумя, не одним, а двумя существующими на некоем отрезке земного времени, дружественными вполне, живущими в мире, в согласии относительном, так, для порядка, по причинам скорей политическим, чем людским, из приязни взаимной, независимыми, конечно, по природе своей, по устройству, по законам своим, державами, но скорее всего – мирами.

Был я в шестидесятых Губанову – необходим.

Видел во мне он тогда нечто такое, чего не было в нём самом.

В первый же день знакомства заявил, что считает меня гениальным, и всё тут, поэтом. Это мнение утвердилось в нём однажды и навсегда.

Всячески он старался меня, человека другого склада, характера, нрава, чем у него, бузотёра, фаталиста и психопата, расположить к себе.

Повышенное внимание к моим давнишним стихам нередко переходило у него, человека чуткого, пронизательного порою, в настоящее понимание.

Был он предельно, так, что неловко бывало слушать шокирующие признания, с пьяных глаз, в основном, с похмелья или сильного недопития, в состоянии малоприятном, прямо скажем, для человека, и, тем более, для поэта, пребывающего в растерзанном и печально известном в столице, полной слухов и сплетен, виде, иногда откровенен со мною.

Случалось, что поверял он мне такие тайны, которые больше, в любых обстоятельствах, не открывал никому.

Подчёркивал неизменно своё уважение, личное, человеческое, ко мне.

Выделив, для себя, по собственным соображениям, по причинам внутренним, скрытым от людских любопытных глаз и вопросов, оставленных им без ответов, меня из всех прочих знакомых его и приятелей, он, таким образом, сам, без принужденья, решался на непростой для него, необходимый шаг.

Ведь, при его, с истериками, с капризами, детской ревности ко всему достойному, или же выдающемуся, великому, наконец, хорошему просто, что само по себе должно человека разумного радовать, везде и всегда, в искусстве, при его чрезвычайно высоком, давно устоявшемся мнении о себе самом, при его необузданности, чувствительности, подозрительности

всегдашней, маниакальном преследовании только одной-единственной, этого хватит, цели: быть лучше всех в поэзии, – пришлось ему, бедному, сразу же, мгновенно сообразив, что он только так и может поступить, и другого выхода нет вообще для него, делить со мною, смилив себя, ценою невероятных для него, ревнивца, усилий, и буквально сжав зубы, вынужденно, а поэтому лучше по-дружески, и славу, и всё, что к ней, по традиции, прилагается – друзей, знакомых, блаженное для него купание в слухах, в людской всеядной молве, нынешнее положение, на грядущее перспективы радужные, и так далее, вплоть, может быть, до бессмертия, – ведь в этом-то он, для себя, нисколько не сомневался, – а тут появился я, и, похоже, нет, несомненно, что дар мой куда крупнее, нежели дар его собственный, но виду, что понял он это навсегда, подавать не надо, следует проявить гибкость, побыть немного политиком, похитрить, обаять меня, очаровать, расположить к себе, добиться дружбы моей, кровь из носу, но добиться, только так, для того хотя бы, чтобы, тут же, на месте, усваивая идеи мои, бесчисленные тогда, в молодые года, впитывая немедленно жизненно важные, нужные для движения ввысь и вперёд, к достижениям новым, творческие, целебные, светлые токи, и ему самому продержаться, как уж выйдет, сколько удастся, в этой жизни, а там посмотрим, – вот что, прежде всего, им двигало, вот что неудержимо, властно тянуло его ко мне, да плюс к тому и по возрасту мы, одногодки, всё-таки, вполне подходили друг другу, так было проще дружить, но это и так понятно, самым же важным, издавна и до сей поры, остаётся тот непреложный факт, что дружба со мною нужна была Губанову прежде всего для того, чтобы выжило, выстояло его собственное, хаотичное, но, по-своему, сильное творчество.

Придётся мне вам сказать, что о дружбе своей с Губановым в шестидесятых и далее говорю я подробно в книге «Время СМОГа», (важной и нужной, для меня и для многих моих современников, знать желающих о содружестве нашем былом, да побольше, да помасштабнее, так, чтоб чтение это было увлекательным и серьёзным, а не просто штрихами, набросками, подмалёвками, тем, о чём Толя Зверев порою говаривал: «Я не пишу картин, пишу я только эскизы»), нет, читателю нужен простор, и разбег для собственных мыслей, и поэзия, и, конечно, целый рой историй, забавных и трагических, то есть всяких, всё читателю интересно, потому-то, видать, ему по душе пришлась моя проза с неизменной полифонией, со смешением разных жанров, да не просто так, на авось, нет, в единстве таком есть синтез, есть дыхание, множество ритмов, есть присутствие тайны, пластика, с волшебством, с магическим светом, то ли проза, то ли стихи, то ли эпос, то ли былина, как заметил Саша Морозов, догадавшись о чём-то верном, о моей, наделавшей шуму небывалого, книге «Пир», пусть гадают все, кто желают, что за невидаль, что за диво все написанные за годы пребывания в Коктебеле, вдалеке от столицы, в затворничестве, в постоянных трудах, в одиночестве бесконечном, вещи мои), над которой ныне работаю.

Книга эта – большая и сложная.

Книга эта – проста и светла.

В ней – возможное и невозможное.

В ней – звезда, что когда-то взошла.

В ней вдосталь всяких событий, историй и приключений, которые молодому нынешнему читателю показаться могут вполне, допускаю, невероятными, но всё это – сущая правда, и это – действительно было, поскольку жизнь моя бурная в минувшие трудные годы бывала и фантастической.

В этой книге большой живут совершенно разные люди, творческие, в основном, и все они с именами, теперь и достаточно громкими, но немало в ней и людей колоритных просто, поскольку интересны такие люди, полагаю, и мне, и вам, и хороших людей, о которых приятно мне было рассказывать, потому что они заслуживают этого, согласитесь.

Богема шестидесятых и семидесятых была отдельной блаженной планетой в советской безумной действительности.

Многих, слишком уж многих из неё, нет уже на свете. Грустно. Да что же делать? Молчать? Грустить? Говорить?

Я ещё жив – и я, пожалуй, один остался, такой вот, многое знающий о том, что было когда-то со всеми нами, в те дни, когда звездой пятипалой запечатаны были рты и залеплены были глаза линиями флагами красными, в дни, когда у стены кремлёвской собирались вожди косопузые на парады и демонстрации, пели трубы оркестров славу монструозной протухшей мумии в мавзолее, солдаты шли неизвестно куда, чтоб танками раздавить поскорее то, что не вписывалось упрямо в чужеродную всем и каждому, с пресловутыми лжескрижалями, большевистскую идеологию, в дни, когда были молоды мы, были молоды и отважны, чужды страхам, на грани, по лезвию бритвы острой или ножа преспокойно ходили, дышали той свободой, которой не было и в помине, той дивной свободой, о которой мечтали мы столь наивно и пылко, что позже обрели её лишь в поэзии, лишь в искусстве, и это было достижением нашим главным, и потом никуда не сплыло, только стало действительно славным, – и силы при мне, слава Богу, и порох есть в пороховнице, один я теперь в состоянии написать наконец о былом.

Вот и пишу. Куда мне от работы своей деваться?

Панацея от бед – работа. И нельзя мне с ней расставаться.

Постепенно, вовсе не сразу, иногда параллельно, как темы, звучащие в музыке Баха, вырастают книги мои.

Вырастают. Произрастают.

Их – читают. Всё чаще – читают.

(Вот и ты на страницы взгляни!)

Их – всё больше. Всё лучше они.

Я-то знаю об этом, поверьте.

Мне виднее – в мирской круговерти.

Всё я вижу – издалека.

Пусть судьба моя – нелегка.

Но – крылата моя душа.

Надо мною – семь звёзд Ковша.

Предо мною – тернистый путь.

Постижение эпохи. Суть.

Вырастают книги мои.

(Нити. Шлюзы. Узлы. Рои.

В яви. В памяти. На пороге).

О былом. В том числе – и о СМОГе.

Может быть, книгу эту даже – подумать ведь только, неужели такое бывает? – издадут, и, причём, что вовсе уж удивительно для меня, по причинам каким-нибудь нынешним, крайне важным и мне-то неведомым, по высоким соображениям, продиктованным чувствами добрыми к этим жгучим, колючим, пылким и пристрастным воспоминаниям, очень личностным, крайне искренним и оправданным верностью долгу, речи русской, дороге тряской по холмам, которые, кстати, были тоже когда-то людьми, существуют люди-холмы, (или так, в переводе моём: есть особые люди среди нас, что встают, подобно холмам, и грядущее прозревают настоящего много лучше и отчётливей, чем бывшее), как сказал, холмом поднимаясь над Парижем, Аполлинер, вовремя, а не когда-нибудь, неизвестно – когда, потом.

Всё у нас может быть.

И поэтому я сейчас не стану особо вдаваться в подробности нашей с Губановым непростой многолетней дружбы.

Ведь задача моя теперешняя – только вкратце сказать о СМОГе.

Потому-то я и работаю.

Знаю себя, и поэтому сразу же, прямо, замечу: вовсе не исключено, что я, человек, по мнению некоторых оглоедов современных, десятого сорта, из тех, что сейчас процветают на чужих костях и заслугах, не желая их замечать, потому что вмиг обнаружатся всё ничтожество их и убожество непотребное, безобразное, беспросветное, просто мрак, за которым завистливый зрак, лживых слов бестолковый тон, бред без продыха, страшный сон, совершенно непредсказуемый, возьму вдруг да увлекусь – и вместо того, чтобы сделать, не забыв про строгий отбор, этакий чёткий обзор интересных давнишних событий, о чём-нибудь да поведаю – о забавном ли, о трагичном ли, – как обычно, под настроение, по наитию, по чутью.

Всё может быть в моей книге.

Как и в жизни. Как и в судьбе.

Ничего. Я привык. Работаю.

Как умею. Как получается.

Тот, чьим светом жив я, всё видит – и добра мне, знаю, желает, и поэтому направляет, как и прежде, на верный путь.

Нить духовная в небе вьётся, связь незримая остаётся в мире этом, где песнь поётся, чтобы века высветлить суть.

...Но вернусь – в былое. Туда,
где вставала в ночи звезда
надо мной, где с нею светло
было в том, что вскоре пришло, —
в наважденье, в бреду сплошном,
в том, что длилось там, за окном,
где в аду крошечном, в раю,
выжил я – да так и стою,
в одиночестве, в мире гроз.
Всё – надолго. И всё – всерьёз.

Итак, любезный читатель, на протяжении всей осени шестьдесят четвёртого, и зимой, в декабре, метельном, студёном, и несколько позже, потом, в январе пришедшего, нового, с надеждами светлыми, года, мы с Губановым существовали в преддверии некоем смутном чего-то необычайного, которое вскоре должно было с нами произойти.

Мы это слишком уж остро чувствовали, настолько пронзительно, что другого просто быть не могло.

Мы ждали этого, ждали так искренне, так наивно и страстно, что чуду явиться вовремя никто бы не помешал.

Нужно было – только слово.

То, главное, что в начале.

То, житнетворное, точное, из которого всё потом неминуемо произойдёт.

Некий мир будет создан. Живой.

И Губанов – нашёл это слово.

Помню, как в январе шестьдесят пятого года, за день до моего дня рождения, который надеялся я провести у себя на родине, в родительском добром доме, с приобретённым заранее, назавтра, недолго ждать уже, билетом на поезд в кармане, с предвкушением праздничным скорого, если честно, то долгожданного, эх, успеть бы собраться, отъезда, и, хотя и

совсем небольшого и давно для меня привычного, но всё-таки очень приятного и настраивавшего всегда на хороший лад, путешествия, ждал я друга в месте условленном, крайне заинтригованный его телефонным, таинственным, полужёпотом, сообщением о том, что сказано мне будет нечто неслыханно важное.

Средьзимний вечер, скорее гоголевский, волшебный, нежели заурядный среднерусский, без чародейства обходившийся преспокойно, был морозен и сдержанно-ясен.

Звёздное, всемогущее, галактическое сияние уживалось в нём как-то запросто, без ломания, без обид, без намёков на чьё-то явное, несомненное преимущество в чём-то важном для жизни, может быть, ощущение извечном времени и пространства в единстве их с человеческим бытием, в их родстве с мировой душой, да и мало ли с чем ещё на земле породниться можно, если связано с речью всё, что свершиться должно в грядущем, если слово всегда в начале и любви земной, и печали, вместе с музыкой неземной, что ещё прозвучит весной, чтобы в сердце вмиг отозваться, чтобы в памяти вновь остаться, по возможности, навсегда, возвращаясь к нам сквозь года, – с мерцанием отчасти похожих на жёлтые тёплые соты столичных бесчисленных окон, пар, окутывавший озябшие на морозе лица прохожих, – с густыми клубами пара, вырывавшегося из подсвеченного зева метрополитена, отдалённо напоминавшего то ли о греческой, с масками, котурнами и хитонами, с обязательным хором, трагедии, то ли о долгом строительстве египетских пирамид на московской, кряжистой, жилистой, неказистой, скудной, скупой, процеженной сквозь болота, лепленной в муках из глины, перетёртой с песком, ко всему привычной, в карстовых трещинах, провалах и прорвах, почве.

Из глубины загадочной, из сердцевины вечера, словно из самых недр его, передо мной возникла коренастая, ладно сбитая фигура Лёни Губанова.

Лицо его, несмотря на холод, матово-бледное, лишено было напрочь обычной тяжело-ватой статичности, близкой к мраморной, может, застылости, – желваки тугие упруго перекатывались под кожей, лоб то весь покрывался изломанными, расползающимися морщинами, то, как будто его погладили, неожиданно распрямлялся, как бывало это всегда, когда Губанов действительно всерьёз озабочен был чем-нибудь из ряда вон выходящим, и поэтому волновался.

Его глаза, изумительные, серые, с голубизною, в самом деле верное зеркало его мятежной, греховной, как считали недобрые люди, но, по-моему, детской, чистой и, возможно, святой души, излучали особенный, тёплый, плавно льющийся изнутри непрерывным потоком свет – свет предчувствия грандиозных, впереди назревавших событий, тайны, славы, любви, надежды, откровений, молитв, щедрот.

Он ринулся тут же ко мне – и сразу же, по-ребячески старательно выговаривая короткое, броское слово, сообщил, что нашёл название сообщества нашего – СМОГ, и мы с ним вдвоём обязаны создать поскорее СМОГ, а это значит, что нынче же начинается что-то новое, отчаянное и праздничное, и пришла пора замечательная, и настало время и нам, ровесникам, единомышленникам, объединиться немедленно и по-настоящему, громко, всем заявить о себе.

Победно и взбудоражено, с прищуром лукавым, поглядывая на меня из-под старой своей, лохматой, измятой шапчонки с опущенными ушами, едва прикрывавшей школьную, неровную, влажную чёлку, он расшифровал название.

И, едва Губанов успел высказаться, едва он дух перевёл, ожидая, что я скажу ему, как я отреагирую на свежее, с пылу, с жару, интересное сообщение, – как вдруг, точно чёртик пружинный, из темноты студёной, из-под земли, возможно, появился, нет, поточнее, мате-

риализовался и подбежал к нам пышущий румянцем Володя Батшев, паренёк энергичный, бывший в курсе всех московских событий, знавший всё, что пишут другие, да и сам писавший стихи.

«Краснощёкий Вовик», – сказал Кублановский в одном своём, характерном для той поры, позабытом стихотворении.

– Ваш сосед, краснощёкий Вовик, в вас разрядит свой пистолет.

И я сразу же видел Батшева.

И сейчас его ясно вижу.

Похоже, что слишком уж тёмное нутро его – интуитивно угадал в молодые годы и сумел это выразить Куб.

Для меня осталось загадкой: почему краснощёкого Вовика можно было встретить везде, куда бы ты ни пришёл, если только мероприятие или встреча имели хоть косвенное отношение к литературе.

Такая всеядность его – настораживала, озадачивала.

Не хотелось думать, что это просто-напросто от избытка молодой, кипучей энергии, от жажды, вполне понятной, утолить которую можно только немедленным действием.

Вот и секунду назад, буквально, его, краснощёкого, чёртика, или кого-то похлеще и пострашнее, вовсе не было с нами, но секунда прошла, и он стоял уже рядом, и был, значит, вполне реален.

Чудеса и метаморфозы, видимо, лишь начинались.

Через тридцать четыре года, в разговоре долгом со мной, Вера Лашкова, известнейшая, в нашей стране и прочих странах, правозащитница, настоящая героиня жестокой былой эпохи, прояснила, по-своему, сжато и доходчиво, ситуацию и просветила меня, конкретно, по поводу Батшева.

– Бат работал на органы! – грустно, устало и просто сказала со вздохом Вера. – Все мы это теперь знаем. Доказательств этому – масса. Можешь, если понадобится, спросить у Володи Буковского, он из Англии подтвердит. Вот такой оказался Батшев. Они его и во ВГИК устроили. И потом – содействовали кое в чём. Видимо, без осложнений хотелось Вату пожить. Не стану сейчас рассказывать, как и где он себя соответствующим образом вёл, этот Ват, что там понатворил, в чём он, такой-сякой, выше своей головы предательской, виноват. Мы-то, действительно кое-что повидавшие и пережившие, всё это, абсолютно всё, хорошо знаем. Ну и что с ним делать теперь? Не ворошить же прошлое! Что теперь с него взять, с Вата? Да и противно всё это... И сам он – слишком противный. Когда уезжать собирался в Германию, всё выискивал у себя еврейскую кровь. Да о каких-то заслугах, собственных, правозащитных, всё твердил, истерично кричал. Какие такие заслуги? Предатель. Гнида. Стукач. С органами сотрудничал – и всё притворялся, всё играл, подлец, в «своего». А люди из-за него – страдали. Мерзавец. Иуда. Пусть живёт себе там, за кордоном, в Германии. Он везде пристроится. Пусть существует – с таким пятном несмываемым, не на роже – на биографии. Не обличать же его принародно. Таким вот гадом и ничтожеством оказался этот Вовик, Ват. Знай об этом...

Но тогда, в шестьдесят пятом, ничего я об этом не знал.

И только чутьё моё, ещё с первой же встречи с Батшевым, бурной прошедшей осенью, говорило мне то и дело: нехороший он человек.

И зачем я терпел его, краснощёкого Вовика, рядом?

И зачем я его подальше не послал? Зачем не прогнал?

Нет ответа на эти вопросы. Остаются они открытыми.

На авось понадеялся, что ли?

Ничего, мол, глядишь – обойдётся?
На авось, да небось, уж точно. Да на третье, на как-нибудь.
И пристал к нам Ват, прикипел.
Соловьём безголосым запел.
Разгулялся. Заговорил.
И такого понатворил...
Но зачем теперь приводить примеры из жизни химеры?
И что теперь с него взять, как верно сказала Вера!..

Мы отправились, до сих пор непонятно – зачем, домой к Губанову, где могли помешать нам его родители, где мало ли что могло неожиданно произойти, поскольку бывало ранее, не единожды, множество раз, отправились не ко мне, в отдельную тихую комнату на Автозаводской, где в досталь могли бы наговориться, но именно к Лёне, в большую родительскую квартиру, уже не вдвоём, а втроём.

И там, на крохотной кухонке, в этом подобии временного, по возможностям нынешним, стана, отогревшись за свежим чайком и за прихваченным, в спешке большой, с собой, по дороге сюда, по традиции давней, дешёвым креплёным вином, Губанов развил свою идею, причём, хлебнув, потихоньку, с оглядкой понятной на домашние обстоятельства, полагавшуюся ему порцию отвратительного, с градусами немалыми, то есть результативного, популярнейшего среди всех граждан советских, напитка, вдохновлялся он, захмелев, с каждой секундой всё больше.

Говорю я – «свою идею» – потому что Лёня уже считал её целиком своей, губановской, собственной, тем более – он, сам, лично, придумал волшебное слово, придумал такое название, а это уже так много!

Поглядев на него, поразмыслив, я решил его не осаживать, не сбивать его с толку, на взлёте, разумными коррективами, чтобы вспомнил он, что к чему, да и просто не огорчать.

Пусть, коли очень хочет, – так он теперь считает.

Что там и говорить, идея была хороша.

Чьей бы она ни являлась – губановской, кровной, личной, как он уже считал, или же, что справедливей и куда точнее, – моею.

У неё уже было имя.

И за именем этим было – так хотелось нам верить – будущее.

Так и виделось – вот оно, радостное, где-то рядом уже встаёт.

Но, имея уже за плечами некоторый, отдающий ранней горечью опыт, когда хрущёвский разгром «формалистов», мутной волной прокатившись по всей стране, основательно и болезненно задел и всласть потрепал нашу дружную группу поэтов молодых, достаточно ярких и талантливых, на Украине, в Кривом Роге, где я тогда жил, и пришлось навидаться всякого, я высказал предположение, что готовыми надо быть ко всему вообще, даже к худшему.

Но губановский оптимизм был не просто велик, а безмерен, и грядущее, самое светлое, рисовалось ему, немедленно волю давшему воображению, в звонких, радужных, чистых тонах, эмоции, в нём бурлившие, били уже через край, – и я, изумившись такому громокипящему кубку чувств, настроений и грёз в удалой его голове и в душе его лебединой, поддерживал своего друга.

Батшев же преобразился на глазах буквально у нас: его всегдашний румянец стал ещё обильнее, гуще, волосы зашевелились на голове, как живые, глаза мутновато, с неясным

туманом в них, заблестели, и видно было, что он воспринял идею СМОГа как дарованный свыше шанс.

Его деловитость чудовищная и практичность необъяснимая мобилизованы были тут же, прямо на месте, в голосе зазвучали уверенные, проверенные, со стальным холодком прицельным, комиссарские жёсткие нотки, в воздухе замелькали появившиеся ниоткуда, как у фокусника, блокнот и заточенный карандаш, и понял я, что от СМОГа теперь его не оторвать.

Вскоре все мы поймём, сколько ненужной путаницы и невыносимой сумятицы внесёт в движение наше этот, вполне вероятно, не лишённый способностей некоторых, но в поэзии совершенно бездарный, какой-то очень уж скользкий, будто намыленный, слишком себе на уме, изворотливый, лживый, с подлянкой, заготовленной, видимо, впрок, так, на всякий пожарный случай, жаждущий лишь известности, любой ценой, поскорее, да что там тянуть, немедленно, подавайте её сюда, революционизированный, сознательно, постоянно не на те, не на нужные рельсы, не туда, не в нужную сторону, сворачивающий с прямого, правильного пути, темноватым так и оставшийся для меня, с давних пор, доселе, молодой, с вихрами немывыми, неизменно розовощёкий, человек, скорее – фантом.

А Губанов всем существом своим жил новой, чудесной идеей, простой, как и всё хорошее, и вместе с тем необычной.

Он уверовал в СМОГ единожды в день свой звёздный – и навсегда.

Он и потом всерьёз, близко к сердцу, обычно с болью, что бывало слишком уж часто, или с чисто мальчишеской радостью, что бывало слишком уж редко, но бывало порой, принимал всё, что прочно или не очень, но каким-то образом связано с его, губановским, детищем, упорно, неумолимо расширял круг своих приверженцев, соратников, как наивно, в добрую сказку веря, считал он, единомышленников.

Не случаен и вдохновенно придуманный им «изумизм», от слова, вполне для Губанова органичного, «изумлять», – новейшее, вслед за смогизмом, течение поэтическое, которое он потом всячески пропагандировал, отстаивал, утверждал, вложив зачем-то в него весь свой молодой задор, – он, поэт, изумлялся сам, неустанно, давно, и действительно изумлял всегда окружающих, столько в нём было таланта, игры и пылкого, ищущего, недюжинного ума.

Время наглядно в дальнейшем, на примере жизней и судеб наших, бесцеремонно, сознательно искалеченных, показало, какой изощрённости в планомерном уничтожении самых светлых, ещё молодых начинаний может достичь система тоталитарно-механическая, изуверская, так разросшаяся, развернувшаяся, основательно заматеревшая в брежневский, долгосрочный, орденосный период.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.